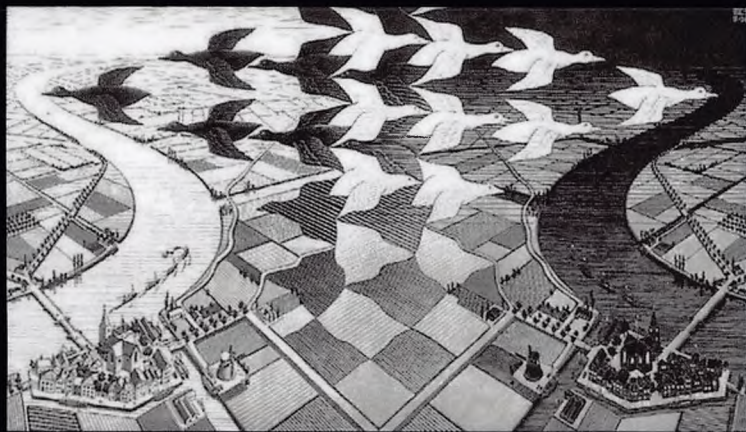


Станислав Божко Зеркала

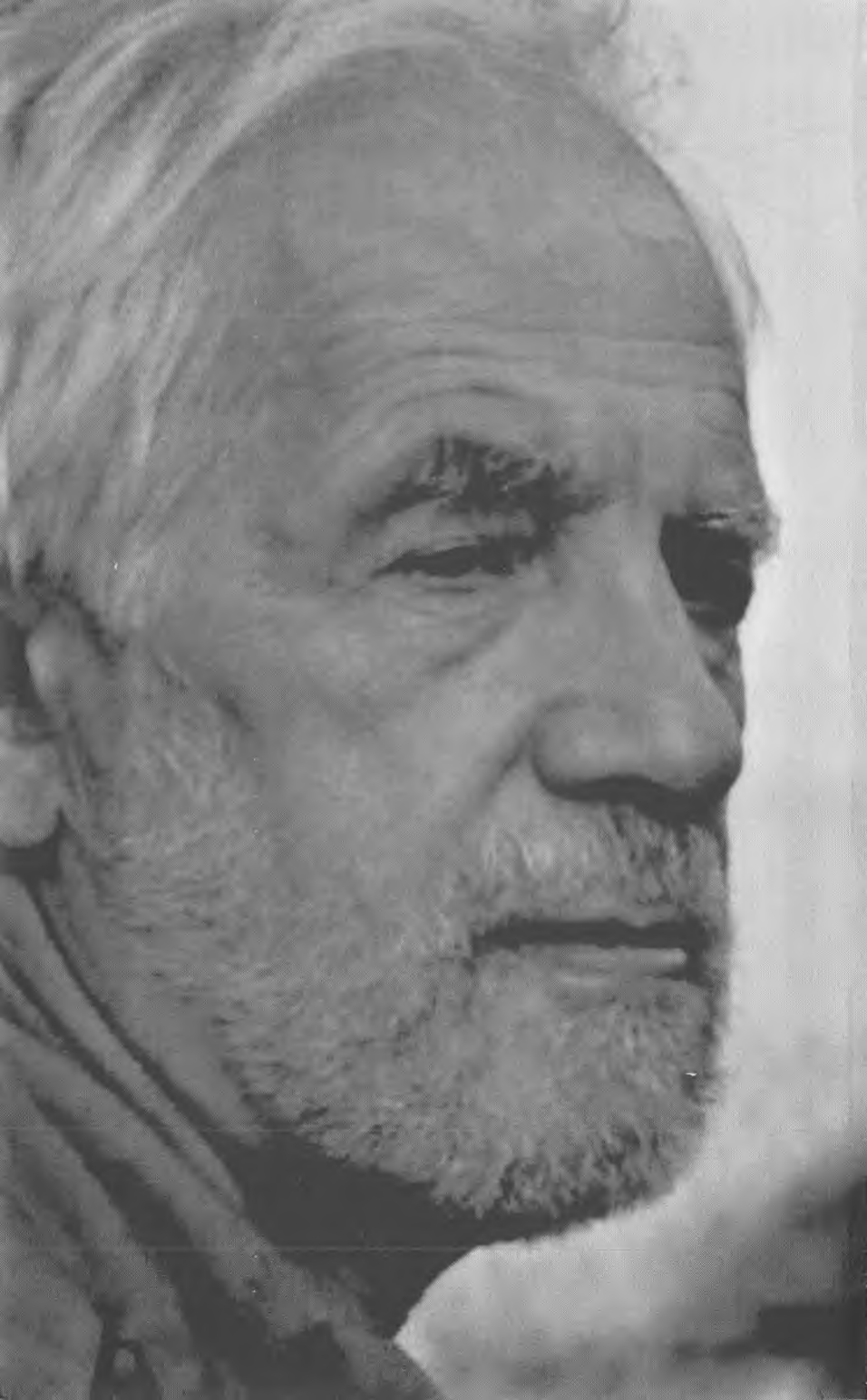
Станислав Божко



Зеркала
Зеркала

Станислав Божко
Зеркала





Станислав Божко
Зеркала

Автобиографическая справка

Я родился на северной окраине Новосибирска, между огромным рабочим гетто в овраге речки Ельцовки, текущей через город, и границей соснового леса, начинавшегося почти рядом с моим бревенчатым домом. Это был 1947 год, и около полутора миллионов человек тогда умерли от голода в моей только что «победившей фашизм» стране. Но в моей тарелке всегда была еда — мои родители и дедушка с бабушкой были работающие горожане, а я был единственным ребёнком в семье.

Недалеко, через улицу, располагалось училище МВД, и несколько раз сквозь оконное стекло я видел, как курсант с овчаркой гнался за странным человеком в ватной маске и с длинными, как у Пьеро, рукавами толстого ватника. Иногда мне удавалось наблюдать и завершение действия, когда собака рвала упавшего и далеко летели клочья ваты. Так, тогда ещё не понимая происходящего, я оказался свидетелем главной игры моего столетия — охоты на человека.

Зимой я сопротивлялся холоду, прущему с низовьев Оби, ходил в детскую библиотеку кожевенно-обувной фабрики, и играл в войну с окрестными пацанами. Война была близко позади, и играли в неё ещё серьёзно, и книжки читали все о ней, так что, когда много лет спустя я попал не на отцовскую, а на «свою» — в Чечню, у меня было сплошное «дежавю», и долго никак не понималось, что всё это не понарошку.

А тогда, в 1954–1955, инвалиды на деревянных платформах с подшипниковыми колёсиками шпалерами сидели вдоль улицы, ведущей от мясокомбината к ЦПКиО, а наглядная агитация цвета золота

в лазури над их головами доходчиво повествовала о прекрасном мире, в котором жили все мы. Так что путь от Жюля Верна к Шаламову был для меня не очень долгов.

«Колымские рассказы» я впервые прочёл шестнадцатилетним в новосибирском Академгородке. Тяжесть этого чемодана с фотокопиями до сих пор в памяти, как дополнительное измерение земной гравитации.

Потом был Томский университет, мотня с местной гэбнёй, для которой ни Шаламов, ни Оруэлл не были авторитетами, сторожевое и организация подпольного культурологического клуба по месту работы в оранжерее РСУ горзеленстроя. А потом, когда выгнали и оттуда, — шабашка — сезонные работы, впрочем, длящиеся почти два десятилетия все четыре времени года.

С профессиональными противниками режима я познакомился только в конце 1980-х. Моя будущая жена была сослана в один из райцентров на берегу Оби, и она же, когда ссылка кончилась и мы переехали в Москву, ввела меня в круг диссидентской элиты.

А потом был Северный Кавказ и работа в качестве миротворца, правозащитника, спасателя во время Грузино-Абхазского конфликта, в ходе 1-й и 2-й Чеченских войн (1994–2000).

А потом пришло время осмыслять и свидетельствовать.





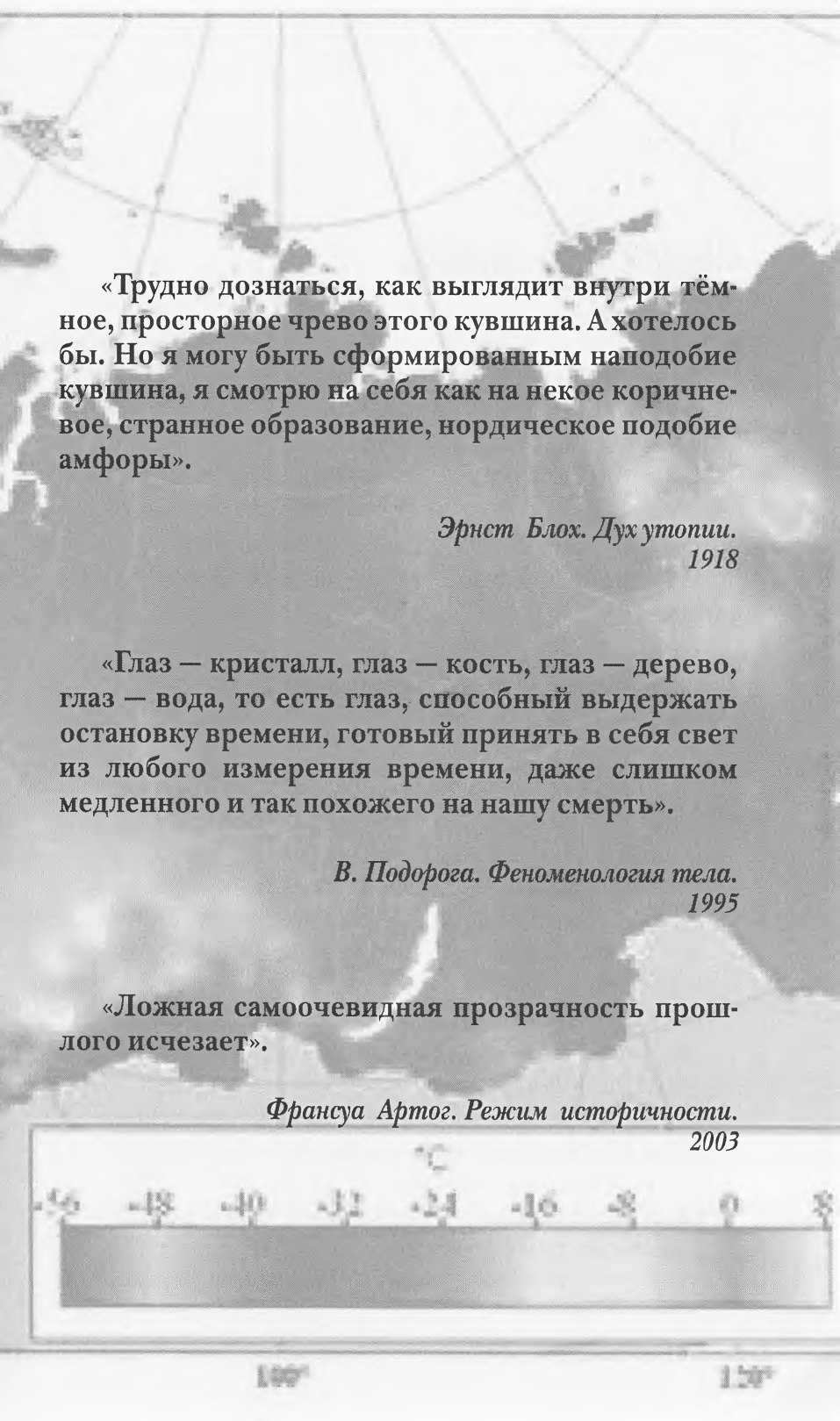
Зеркала

Средняя температура воздуха

Январь

«Несомненно здесь проходил огромный недавний сброс. Силы разрушения ещё не успели расчленить хребет на ряд отдельных вершин. Отвесный обрыв казался матовым и серовато-жёлтым. Только в защищённых от прямого удара ветров изломах скалистых круч — бурые, почти чёрные полированные поверхности двухметровых зеркал скольжения. Странно было смотреть на собственное отражение в этом горном зеркале. Блестящая с красными бликами вечернего солнца поверхность уходила бесконечно далеко вглубь каменного массива, а отражение как бы выступало вперёд чётким бестелесным призраком. Коридор вёл, казалось, не только в глубину каменных масс земной коры, но и в бездны прошедших времён невообразимой длительности...»

Иван Ефремов. Дорога ветров.
1957



«Трудно дознаться, как выглядит внутри тёмное, просторное чрево этого кувшина. А хотелось бы. Но я могу быть сформированным наподобие кувшина, я смотрю на себя как на некое коричневое, странное образование, нордическое подобие амфоры».

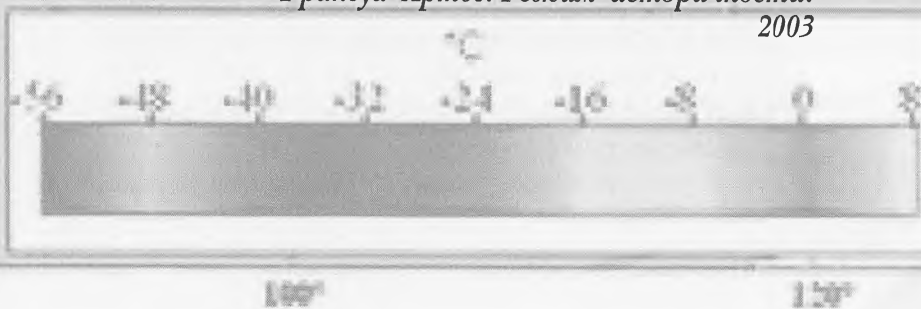
Эрнст Блох. Дух утопии.
1918

«Глаз — кристалл, глаз — кость, глаз — дерево, глаз — вода, то есть глаз, способный выдержать остановку времени, готовый принять в себя свет из любого измерения времени, даже слишком медленного и так похожего на нашу смерть».

В. Подорога. Феноменология тела.
1995

«Ложная самоочевидная прозрачность прошлого исчезает».

Франсуа Артог. Режим историчности.
2003



«Чёрное чудо» нацизма

Внешние составляющие: «биология в действии».

Жёсткий контроль рождаемости и изоляция слабых и больных.

Спасение бьющейся на крючке «Версаля» страны виделось в очистке крови от чуждых расовых примесей и внедрившихся в гены болезней.

Отражение вирусной атаки на „Volkskörper“ — тело нации.

«Кровь — ведь это такая особая жидкость».

Рудольф Штайнер

«А у нас тогда была ночь. Мы погибали от нищеты и голодной собачьей свободы... Старушки в мантильях и шёлковых наколках на голове подбирали в мешочки кости и огрызки хлеба, профессора, улыбаясь, продавали спички. У лавок, как в церкви, стояли тихие толпы и ждали, но хлеб всё-таки уже везли под конвоем в защитных фургонах. А рядом шагала стража. Везде мелькали солдатские шинели, изношенные, залатанные.

И, опять ночь — грязные кварталы, трактиры в узких прокопчённых домах, кусты картофеля. Все предместья Берлина были засажены этим картофелем. И всё равно каждый пятый родившийся умирал от голода...»

Юрий Домбровский. История немецкого консула

«...Некто худенький, с мокрым лбом и странно неподвижными серо-голубыми глазами. Он стоял и молчал... произнёс первые фразы... точно (тихо) просил о чём-то... внезапно его голос сорвался на хриплый крик, от которого сидящие за столиками начали медленно подниматься... вскоре казалось, что там хрипит несколько зверей...»

Письмо Эльзы Гесс к Анжелике Раубаль

«Неудавшийся художник, уклонившийся в своё время от призыва в австрийскую армию, был приписан к резерву 16-го Баварского пехотного полка и прибыл на Западный фронт в октябре, как раз вовремя, чтобы участвовать в битве на Ипре. Таким образом, он стал свидетелем ужасного „избиения младенцев“, когда английские солдаты-профессионалы искрошили планомерным обстрелом десятки тысяч плохо обученных немецких добровольцев, в основном: студентов и гимназистов. И до конца жизни его мучила судьба погибших и искалеченных товарищей — поколения Лангемарка, маленькой деревушки, расположенной в пяти милях к северу от Ипра».

Норман Дэвис. История Европы. Лангемарк

А на самом дне было отвращение к отцу-таможеннику и его «казённой клетке», где «старики сидят, сгорбившись, один на другом, как обезьяны», к миру, из которого ушла музыка, городам, ставшим «гробницей всего германского» и к «украденной победе» в войне. Ведь

«...никогда не существовала более наглая диктатура, чем диктатура демократической интеллигенции, претендующей, что она является германской культурой, германским настоящим

и германским будущим. Всё остальное для них было греховная жалкая поделка, отвратительное мещанство».

Фридрих Гусонг. Курфюрстердам

«По-видимому, Гитлер задумал „окончательное решение“ еврейского вопроса в фантастической обстановке готического замка Верфенштейн в Австрии, где лишённый сана монах Йорг Ланц фон Либенфельс работал над систематической программой расового воспроизводства и истребления».

Пол Джонсон. Современность

К середине 1930-х

«стране не угрожала опасность извне, национальная экономика процветала. Однако немцы настолько глубоко усвоили представление о своей „праведности“ и „низости“ своих врагов, что вопрос о необходимости решительной и беспощадной войны до последнего уже не ставился. Дело было только за техническими деталями».

Клаудия Кунц. Совесть нацистов

У Станислава Лема есть ранний роман «Эдем». («Eden»), 1957. Очень важный для понимания нацизма текст. Автор совсем молодым участвовал в польском сопротивлении и многое увидел изнутри. Но увиденное не могло быть рассказано. Об этом тогда не было придумано слов.

К середине 1960-х Третий рейх как особая (другая) реальность ещё не был осмыслен и понят. Некоторые главы — внятная попытка нащупать подходы к пониманию мира, в котором доминантными являются логика и этика механизмов расовой селекции

и евгеники, сначала скрытых, а потом начавших работать на полную мощность.

В текущей реальности это было опробовано и доведено до «совершенства» именно на территории Польши (Генерал-губернаторства). Жанр фантастического романа санкционировал использование фильтров овнешнения или отстранения (брехтовское: остранение), которые позволили внятно и без пафоса сказать об этом.

В прочем,

«выборочное истребление некоторой части генофонда, видимо, не раз осуществлялось в истории как средство гомогенизации расы в некотором желаемом направлении».

В. Налимов. На изломе культуры

«Так вот, по мере возможности я восстановил всю последовательность событий, всё происходившее с нами и вокруг нас: это было что-то совсем другое — что-то, от чего разум защищается как от капитуляции перед безумием».

С. Лем. Эдем

«Их действия неподвластны человеческому опыту, а язык, на котором они говорят, невразумителен, хотя чувственно вполне артикулируем, (в конце концов) ты находил себя в месте, недоступном никакому описанию, но которое казалось „подземным“, а к тому же и сводчатым».

Э. Уайнбергер. Следы кармы

Вменяемость в оценке этих дел — редкий товар.

Согласно закону от 14 июля 1933 года насильственной стерилизации подвергались граждане рейха — некоторые категории психических больных, лица,

страдающие врождённой слепотой и глухотой и лица, страдающие от хронического алкоголизма. Следующий барьер был преодолен, когда зимой 1938–1939 года нацистский медицинский персонал начал практиковать отказ от искусственного поддержания жизни смертельно больных детей.

В октябре 1939 года, после начала войны с Польшей, программа эвтаназии получила развитие, и был установлен план в 65–75 тысяч смертей — отчасти для того, чтобы разгрузить санатории и больницы для размещения немецких переселенцев, прибывающих из оккупированной СССР Прибалтики в рамках программы «Домой в рейх».

(Вернер Гейде — один из организаторов программы эвтаназии, обвинённый в личном участии в убийстве более 100 тысяч человек, — ещё в 1959 году, сменив имя, работал в должности старшего эксперта-психиатра земельного суда земли Шлезвиг-Гольштейн).

Ульрика Майнхоф. От протеста — к сопротивлению

Расово (и биологически) чуждые. Приносимые в жертву именно потому, что создано особое пространство (место смерти, а в пределе — антропологическая пустыня, подлинное «ничто»), конфигурация которого, как ловушка муравьиного льва, запускает процесс уничтожения.

Жертва как внутренняя, невидимая извне, главная часть механизма Большой некромашины.

«Ну, и куда мы забрели? Мы спрашиваем о технике, а теперь добрались до раскрытости потаённого. И если мы будем иметь это в виду, то в существовании техники нам откроется совсем другая область».

М. Хайдеггер. Вопрос о технике

Заглянув туда,

«он увидел могильную тьму механизма, в его теснинах заблудилось человечество и пало мёртвым».

Андрей Платонов. Мусорный ветер

И, там, во тьме, мы услышим дрящущийся тысячелестия органнй аккорд — хорошо темперированный «Glos Papa» (Голос Господа), как сформулировал тот же Лем.

«Продвинутые» наци, похоже, внимали этому голосу.

А «неспособность христиан противостоять нацистской юдофобии была обусловлена юдофобией целого ряда христианских святых, в том числе, Августина, Фомы Аквинского, Мартина Лютера».

Иоанн Златоуст, восклицает с присущим ему пафосом:

«Не должно ли отвращаться их (иудеев), как всеобщей заразы и язвы для всей вселенной?».

В тени, отбрасываемой на нас Холокостом, зловеще прочитываются правила 4-го Латеранского собора (1215 г.) относительно режима, который должен был быть создан для евреев внутри христианского сообщества. Этот режим вводил отличительные знаки на одежде и предписывал компактное проживание для членов еврейских общин.

«Слишком часто то, что христиане победоносно и безжалостно выдавали за истину, превращалось в карающий меч, в орудие пытки, в инструмент преследования евреев», —

утверждает Иоганн Мец.

Но тогда не является ли мегамашина «Освенцим» итогом, завершением эволюции этого ремесленного инструмента — истины, вмонтированной в орудие пытки?

Магистрат города Нейсе соорудил особую печь для сжигания ведьм. В 1651 году в ней были сожжены 22 женщины. А за предыдущие 9 лет в этом княжестве были сожжены около тысячи ведьм, среди них были и малолетние девочки. Иногда допрашивались по 8–10 человек вместе, и потом они безымянными всходили на костёр. В Тулузе были дни, когда сжигались по 400 женщин в день. Шоа (Всесожжение) сначала опробовали на своих.

Век Декарта (1596–1650), Лейбница (1646–1716), Ньютона (1642–1727), Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750).

В России в эти же годы

«на помощь церкви была призвана наука: устроили в Москве школу, академию, обязанностью которой было защищать православие. Начальник (блюститель) и учителя должны смотреть, чтоб ни у кого не было запрещённых книг, а если кто-нибудь будет обвинён в хуле на православную веру, то отдаётся на суд блюстителю и учителям, и если они признают обвинение справедливым, то преступник подвергается сожжению. Таким образом, академия уполномочивалась следить за движением врагов православия... это была цитадель, которую хотели устроить для православной церкви при необходимом столкновении её с иноверным Западом, это не училище только — это страшный трибунал: произнесут блюститель и учителя слово: „Виновен в неправославии“ — и костёр запылает для преступника».

С.М. Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом

«Одних это всё ослепляло. Другим — / Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи. / Копались цыплята в кустах георгин, / Сверчки и стрекозы, как часики, тикали. / Плыла черепица, и полдень смотрел, / Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге / Кто, громко свища, мастерил самострел, / Кто молча готовился к Троицкой ярмарке».

Борис Пастернак. Марбург

Итог борьбы христианской Европы с инакомыслием и инакосуществованием (начиная с раннего средневековья и кончая серединой XIX века) ошеломляет:

«Уничтожение инквизицией почти девяти миллионов „ведьм“, большинство из которых были (просто) сельскими женщинами, пытавшимися сохранить древнее женское знание о лечении травами, предохранении от зачатия и акушерстве».

R. Metzner 1990. Цит. по В. Налимов 1993. С. 218.

Ну хорошо, автор подсчётов увлекся. А если в сто раз меньше — этого мало?

«Я рассматриваю всякую христианскую теодицею — то есть всякую попытку так называемого „оправдания Бога“ перед лицом Освенцима, как богохульство».

Иоганн Мец. Христиане и евреи после Освенцима

А исход Европы в жестокую, зачеловеческую архаику «Второй тридцатилетней войны» (1914–1945) был инициирован распадом Австро-Венгерской империи, случившимся на четвёртом году этого бедствия.

«Нет ни одной народности или области из состава прежней империи Габсбургов, которой независимость не принесла бы мук, предназначавшихся древними поэтами и богословами осуждённым душам».

Уинстон Черчилль. От войны до войны

«Над всей Европой и особенно над Австро-Венгрией стояли густые тучи конца, сливаясь с бурей в соседней империи и крушением другого большого государства, говорящего на том же языке».

В. Бибихин. Витгенштейн – смена аспекта

К 1919 году в Германии и Франции начинают тиражироваться свидетельства о терроре в России, где к этому времени уже работают в полную силу социальные лифты, выбрасывающие множество русских мужиков из глубинки и еврейских мальчиков из черты оседлости во все эшелоны Новой власти, а несколько из них становятся лидерами Русской революции. Вот как видится этот процесс одному из значимых немецких интеллектуалов:

«Мы говорим также о типе русского еврея, лидера международного движения, этой взрывоопасной смеси еврейского интеллектуал-радикализма со славянским православным фанатизмом. Мир, который ещё не утратил инстинкта самосохранения, должен с напряжением всех сил принять меры против этой породы людей».

Томас Манн. Дневник. 2 мая 1919

Тогда же, в начале 1920, в Германию попадают и переводятся на немецкий язык несколько фундаментальных текстов о массовых расстрелах и голоде на

территории советской России. Важнейшие среди них: С. Мельгунов «Красный террор в России», Максимилиан Волошин «Стихи о терроре» и Иван Шмелёв «Солнце мёртвых». Насилие в Крыму, развязанное красным радикальным интеллектуалом Бела Куном и его сподвижницей Розалией Землячкой, даже по меркам того времени, было запредельным.

Проработка темы: что делать с европейскими евреями, воспринимавшимися как главное зло?

«Злом» для философов и политиков начавшейся консервативной революции была, пожалуй, только высокая степень включённости многих немецких евреев в культуру рейха. Идентичность культурного призрака этническому оригиналу, собственно, их высокая способность быть немцами больше, чем сами немцы. Невыносимое для «истинного немца» (блестяще об этом — Э. Юнгер) виртуозное владение языком немецкой культуры. Их «дружба (с ней) в упор, без фарисейства».

«Её темы были многослойно еврейскими, но язык её — немецкий; роскошный, блистательный, нежный немецкий; зрелый, пряный язык, каждым своим побегом произрастававший из самого ядра творческой субстанции».

Готфрид Бенн. Двойная жизнь. (Об Эльзе Ласкер-Шюлер)

А с января 1933 уже никто в правительстве Третьего рейха не знал, как от них избавиться.

Но всё же

«существовало удовлетворявшее обе стороны соглашение между нацистскими властями и Еврейским палестинским агентством — трансферное соглашение, согласно которому эмигрант в Палестину мог перевести свои средства в сделанные в Германии товары, а по прибытии

обменять их на фунты стерлингов. Эмиссары из самой Палестины вступали в контакт с гестапо и СС,.. чтобы заручиться поддержкой нелегальной иммиграции евреев в находящуюся под управлением Британии Палестину. Гестапо и СС в этой поддержке им не отказывали... В Вене они вели переговоры с Эйхманом, который предоставил им фермы и другие производственные площади для организации временных тренировочных лагерей для будущих иммигрантов... В одном случае он эвакуировал из монастыря группу монахинь, чтобы передать эти земли для создания образцовой фермы, на которой молодые евреи могли бы обучаться ведению сельского хозяйства».

Ханна Арндт. Банальность зла

Радикальное решение пришло только к поздней осени 1941 года. До этого предполагались варианты. В частности, высылка на Мадагаскар. Эта идея была высказана Шахтом и одобрена Гитлером в декабре 1938-го. Но, как и с планом вторжения на Британские острова, не хватило «малого»: плавсредств. Адольф Эйхман даже ездил в Палестину, чтобы нащупать какой-то альтернативный — внутри этой логики — выход из складывающейся ситуации. Дело в том, что Палестина, как подмандатная территория, могла принимать евреев, беженцев из Европы, только согласно годовым квотам. Речь шла пока только о 600 тысячах немецких и австрийских евреев, но даже их было слишком много в рамках разрешённых десяти тысяч в год. А с началом войны с Польшей проблема приобрела дополнительное измерение:

«Ненавистные евреи занимали слишком много места, и немцев с востока было некуда

селить. Зачастую, откликнувшись на призыв возвращаться „домой в рейх“, немецкие переселенцы были вынуждены жить в транзитных лагерях, испытывая голод и беспомощность».

Н. Неймарк. Пламя ненависти

Начавшаяся в 1939 году Вторая мировая война позволила инициировать программу переселения немецких и австрийских евреев в Генерал-губернаторство, которое не считалось частью рейха. Потому что в Германии, как и, собственно, на территории всей Западной Европы, уничтожать их массово не представлялось возможным.

«...Ночью чувствуешь, что странные тени движутся во мраке, как будто немецкая жизнь медленно отрывается от Западной Европы и приближается к пустыням на Востоке».

Д.Х. Лоуренс. Письмо из Германии

Война же против СССР стала концом

«эры, в которой существовали законы, указы, декреты о том, как обходиться с каждым конкретным евреем».

Адольф Эйхман. Аргентинский дневник

И люди внезапно стали другими. Такой, по словам Эйхмана, замечательный, разумный, «свободный от ненависти и любого рода шовинизма» человек, как Франц Вальтер Шталекер, доктор права из Тюбингена и бригаденфюрер СС, был назначен командиром айнзацгруппы «А» и менее чем за год умудрился расстрелять более двухсот тысяч евреев. Атмосфера была такая. Да и местное население не сидело сложа руки:

25 июня 1941 года поляки — жители маленького городка Едвабне на восточной границе Польши,

после вступления немецкого гарнизона в местечко и при попустительстве местного ксендза приступили к уничтожению евреев, своих соседей.

Еврейская община городка насчитывала 1600 человек, около 60% населения. Трупы бросали в сарай на окраине городка. К 10 июля оставшихся в живых согнали на центральную площадь, построили в колонны по четыре во главе с девяностолетним раввином, в руки которого сунули красное знамя, заставили играть местный оркестр и, убивая по дороге отставших, повели в сарай, где и сожгли всех вместе — живых и мёртвых. Поляки убивали евреев и в других местах: Радзвилове, Вонсоше и Визне.

О плотности зачистки в Польше:

«Я единственный из пятидесяти четырёх (!) членов моей семьи выжил. Я отправился в Лодзь найти там кого-нибудь из родных, но никого не было в живых».

Виктор Брайтбург.

(Кит Лоу. Жестокий континент Европа после Второй мировой)

В послевоенной Польше антисемитизм получил «второе дыхание».

Многие из горстки польских евреев, переживших Холокост, стали функционерами новой власти, большинством населения воспринимающейся как оккупационная.

В городок Кёльцы, еврейская община которого до войны насчитывала более 25 тысяч человек, вернулось около трёхсот. По данным на май 1945 года в центре города в двух домах на улице Планты проживало 163 еврея. Погром начался 4 июля 1946 года и унёс жизни 40 человек. 80 было искалечено.

Всего же с 1944 по 1956 год в Польше во время погромов погибло 2 тысячи человек.

«В Польше бытует мнение, что печально известная коммунистическая служба безопасности (УВ) состояла по большей части из евреев и что их преступления ужасны. В недавнем исследовании (касающемся района Верхней Силезии) утверждается, что в 1945 году все командиры и три четверти местных агентов УВ были евреями, что в порядке вещей были пытки голодом, садистские избиения и убийства. В этой части Польши коммунистический режим загубил примерно 60–80 тысяч человек из немецкого населения».

Норман Дэвис. История Европы. Батальон-101

«Составной частью истории церкви в Польше была также традиция, согласно которой полякатолик, пребывая в постоянном конфликте с протестантской германизацией и православной русификацией, с помощью своей религии спасал и выхаживал национальную идентичность... и верил, что евреи представляют для него первостепенную опасность... он как бы смотрел в лицо еврею-офицеру службы безопасности, который унижает и оскорбляет, пытается и убивает польских патриотов».

Адам Михник. Погром в Кёльцах

«Пой же труба, пой же, / Пой о моей Польше, /
Пой о моей маме — / там, в выгребной яме».

Александр Галич. Баллада о вечном огне

«Поклялся бы ты, что не тронешь / Ран своего народа, /
Что не превратишь их в святость, /
В проклятую святость, в погоне / За будущими веками?»

*Чеслав Милош. В Варшаве
(Перевод Вяч. Вс. Иванова)*

Один из «ликвидаторов» львовских евреев и координатор резни львовских профессоров — Теодор Оберлендер, адъюнкт-профессор Института Восточной Европы в Данциге, оберштурмбанфюрер СА и политрук батальона «Нахтигаль», пережив всё, стал к 1953 году министром по делам беженцев в правительстве Аденауэра. После скандала с разоблачением просто подал в отставку. Наказан не был. В конце 1980-х я познакомился в Сибири (в Шегарском доме инвалидов) с сыном генерала УПА, узником ГУЛАГа с двадцатилетним стажем Юрием Романовичем Шухевичем. Его отец, Роман Шухевич, принимал активное участие в этих событиях. Расстояние вытянутой руки.

А книга Рауля Хилберга: «Уничтожение европейских евреев» сообщает подробности о сотрудничестве уже еврейских функционеров и нацистской администрации.

«На еврейских функционеров можно было положиться во всём: от составления списков людей и их собственности, и собирания с депортируемых средств, призванных возместить расходы по их депортации и уничтожению, до их отлова и посадки в поезда».

Кроме набитых «под завязку» товарняков, в Треблинку-2 иногда следовали обычные пассажирские поезда, пассажиры которых организованно приобретали билеты (часто через агентов по продажам) в один конец. Их информировали о депортации на новое место жительства.

А возможность и необходимость изолировать какие-либо группы уже этнически своего, но нелояльного к новому режиму населения была впервые реализована в Германии к февралю-марту 1933 года.

Организация лагерей «превентивного заключения» и «правоохранительных лагерей» в болотах

под Ольденбургом. Они были подчинены местному персоналу СА.

Самое интересное, что многие лагеря возникали как бы сами собой, без «понуканий» из центра. Эти лагеря (их называли «дикими») строились отрядами СА за свой счёт на голом энтузиазме и размещались часто в пустующих производственных помещениях. Так, лагерь Ораниенбург был устроен в неработающей пивоварне, и его узники размещались в погребах для охлаждения пивных бутылок.

«Не существует никакого приказа или инструкции, породившей лагеря, просто однажды они возникли сами собой», — замечает шеф государственной тайной полиции Рудольф Дильс.

Впрочем, эти импровизации кончились 30 июня 1934 года. Ликвидация верхушки СА, убийство Рема.

И уже к концу 1934 года Дильс с удовлетворением докладывает наверх, что ему удалось уменьшить количество заключённых с 30 тысяч до 2800 человек, и заменить около 50 диких лагерей несколькими образцовыми государственными исправительными учреждениями.

А в 1935 году немецкими юристами была одобрена возможность оспаривать распоряжения гестапо. Тогда же, в мае 1935 года, произошёл так называемый «Хонштейнский процесс» против оберштурмбанфюрера СА Енихена. Ему и ещё 422 обвиняемым были вынесены суровые приговоры к тюремному заключению за дурное обращение с узниками концлагеря Хонштейн.

А «в некрологе, который он (доктор Геббельс — С.Б.) посвятил расстрелянным штурмовикам Рема, слышался призыв кошачьего мурлыканья: „Они желали революции. Вот и добились её“».

Эрнст Юнгер. Излучения

Э тот же день (30 июня) можно назвать днём основания «Государства SS» во главе с Генрихом Гимmlером.

Восхождение Теодора Эйке – назначенного Гимmlером комендантом Дахау. По его приказу кем-то из заключённых был сочинён гимн «Мы – солдаты болот» с такими словами:

«Под солнцем и под дождём, под снегом
и в бурю работаем мы... И мы станем свободны,
и на всё готовы ради тебя, Родина».

(«От злой тоски не матерись», «Я медную руду копаю для страны, чтоб было всем уютно и тепло», «Мы встретимся с тобой на острове Вайгач, где долгие кончаются срока»).

Теодор Эйке, эсэсовец – суровый романтик и практик консервативной революции, лично расстрелявший Рема.

Тяжёлые боевые ранения. Когда Дахау на время опустел, он сформировал, привлекая лагерный персонал, дивизию SS «Мёртвая голова» и во главе её отбыл на передовую. Погиб во время боя на Восточном фронте в 1943 году.

Ему принадлежит несколько новшеств в регламенте обращения с евреями. В частности, он первый применил расстрел прямо «с колёс», при выгрузке депортируемых из вагонов.

На другом полюсе – погибший в бою в 1941 на Западном фронте еврейский мальчик из СССР, «задохнувшийся Интернационалом» студент ИФЛИ, ещё в 1938 году мечтающий умереть на передовой «у речки Шпрее» за «земшарную республику советов» и пророчески написавший (в поэтическом письме к другу, штурмующему Польшу с Востока в сентябре 1939) о подобных себе:

«Мы пройдем через это. Мы растопчем это, как окурки. Мы — лобастые мальчики невиданной революции. В десять — мечтатели. В четырнадцать — поэты и урки. В двадцать пять занесённые в смертные религии».

Павел Коган. Письмо

До двадцати пяти он не дожил.

Впрочем, между 1939 и 1941 была Катюнь.

Другой мальчик из этого же круга, (ставший одним из лучших русских поэтов второй половины XX века) в приступе уже совсем дикой для нас откровенности написал немыслимое:

«Пусть я голодный, ржавый и ободранный, с душой, зажатой, как палец меж дверей, но я люблю карательные органы — из фанатиков, а не писарей».

Звали его Борис Слуцкий, и работал он тогда «дознавателем» военной прокуратуры.

Мальчикам — и сврейским, и «нордическим» — почти всем «продвинутым» европейским мальчикам 1920 годов рождения пришлось «пройти через это».

И многим — умереть. А их мечты о жизни в «едином человечьем общежитии» или «колонии на Востоке», обернулись «оптовыми смертями» в лагерях и гетто по всей Евразии.

«Нам всем чуть за двадцать, мы все безумцы, и мы ни о чём другом не могли говорить, только о ночах под южным небом, о пальмах и бризах. И мы скакали, как бешеные, и обнимались — мы едем в Африку!»

Ральф Рингер, лейтенант мотопехоты из корпуса Роммеля.

Февраль 1941 года

(Макс Хейстингс. Вторая мировая война. Ад на земле)

Один из них, юный эсэсовец Гюнтер Грасс, случайно уцелел, постепенно «въехал» в то, что произошло тогда, и через несколько десятилетий, расковыривая горькую «луковицу памяти», стал нобелевским лауреатом по литературе.

Как и его сверстник — простой солдат вермахта Генрих Бёлль, как и советский мальчик из этого же поколения Саня Солженицын.

В 1924 году немецкий писатель-экспрессионист Альфред Дёблин заканчивает и публикует объёмную дистопию «Горы, моря и гиганты», действие которой развёртывается во время и после грядущей мировой войны на территории «Русской равнины».

Этот роман, замечает Грасс, — следствие «избыточного давления обрушившихся на автора видений».

Визионерская проработанность текста. Возможно — редкий случай дальнего, даже для нас, ясновидения. Результат — одна из самых странных теневых реальностей, созданных в XX столетии.

Незамеченный в Германии, он переводится и издаётся в СССР в 1937 году, но весь тираж немедленно уничтожается. Современное издание: М.: изд. Ивана Лимбиха. 2011.

А «на июнь 1936 начальная волна репрессий схлынула, многие противники режима эмигрировали, и численность узников концлагерей составляла 4761 человек (включая алкоголиков, наркоманов и профессиональных преступников) на 60 миллионов населения Германии».

С. Мадиевский. Рецензия на книгу Гетца Али «Народное государство Гитлера». Франкфурт на Майне

2005

С рока первого поколения заключённых Дахау и Бухенвальда тоже были недолгими, к лету 1939 года многие вышли на свободу, и лагеря опустели.

Максимилиан Волошин в «Северо-Востоке» и Лев Гумилёв в «Этногенезе» — об ударах невидимой космической плети, бичующей наискось пространства Евразии.

Важным здесь, похоже, является — на какой: 40-й или 60-й градус северной широты приходится траектория «удара».

Криолитозона (область распространения многолетней мерзлоты на территории РФ) занимает около 11 миллионов квадратных километров, то есть около двух третей общей территории страны, и суммарная отрицательная температура за период залегания снежного покрова в этой «ледяной печи» составляет минус 3–6 тысяч градусов по Цельсию. В этих делах Север участвует как полноценный игрок на стороне лагерной администрации. Это хорошо понимал Варлам Шаламов, дотягивающий свой срок на полюсе холода планеты — в Оймяконе.

Отец Шаламова в юности был православным священником, «окормляющим» Алеутские острова. Увлечённо миссионерствовал и охотился там в годы аляскинской золотой лихорадки.

В 1929 году при Академии наук СССР создаётся постоянная комиссия по изучению вечной мерзлоты (КИВМ).

В 1931 она преобразована в Институт мерзлото-ведения, располагающий сетью мерзлотных станций, сопряжённых с лагпунктами, на северо-востоке континента. Кстати, в США и Канаде первые попытки научного исследования мерзлоты начались только два десятилетия спустя.

Трест «Дальстрой» был создан постановлением ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1931 года и постановлением Совета Труда и Оборона (СТО) от 13 ноября.

К 1953 году территория «Дальстроя» достигла 2,8 млн квадратных километров, включая в себя всю Магаданскую область, восточную половину Якутской АССР, Чукотку и Камчатку. Охватив, практически, весь Северовосток Евразии.

Поколение «Детей мороза» и «Белого безмолвия» было ещё живо, когда в бухту Нагаева начался массовый завоз заключённых. СВИТЛ был образован в январе 1937 года, а к началу 1938 года Колымо-Индибирский район «особого назначения» стал «сердцем» *Северовосточной некромашины*. Отдельные узлы которой были удивительно похожи на вывернутые наизнанку ацтекские пирамиды. Ледяные уступчатые призмы золотоносных карьеров с медленно остывающей человеческой плотью. На дне карьеров, в рабочей зоне, из-за температурной инверсии, было значительно холоднее, чем в их верхней части. Когда температура опускалась ниже – 45 градусов Цельсия люди начинали слышать «шёпот звёзд» – это тёрлись друг о друга льдинки из частиц их крови, лёгочной ткани и выдыхаемого воздуха.

Свидетель пишет:

«Годы войны на почти всей территории Советского Союза, в том числе и на его Крайнем Севере совпали с температурным минимумом на этой части земного шара, едва ли не за целое столетие... В предпоследнюю военную зиму морозы в бассейне реки Яны месяцами удерживались на уровне 60 градусов, и поражённые низкотемпературным шоком агонизировали по несколько дней».

Георгий Демидов. Люди гибнут за металл

Вселенная Колымы стала порождающей моделью (испытательным полигоном) нового, перенесённого Петром Великим на северо-восток континента, европейского космоса, привитого им к арктической пустыне и состоящего теперь из

«бесконечных пустот, безумных и ни с чем не сравнимых расстояний, пространств и времён, холодных и чёрных, и холода в 273 градуса ниже нуля по Цельсию».

Алексей Лосев. Эстетика Возрождения

«Беспредельность и холод пространства, в котором движется наша планета, и его равнодушие к тому эфемерному и преходящему, что зовётся жизнью», —

формулирует один из обитателей этого космоса — Варлам Шаламов.

«Отдельных могил здесь не копали. Это было слишком расточительно с точки зрения экономии места и взрывчатки. Летом во всю длину распадка в его скальном дне взрывным способом выбивались почти километровые траншеи. Глубиной эти траншеи были, как и надлежит могиле, около двух метров, а по ширине равнялись высоте человеческого роста».

Георгий Демидов. Люди гибнут за металл

Но «сначала всё было по-домашнему. У входа в лагерную столовую стояла открытая бочка с рыбьим жиром, из которой каждый мог черпать бесконтрольно. Исчезла она к концу 36-го», — пишет Шаламов.

А к зиме 1938 года это выглядело так:

«Много месяцев день и ночь на утренних и вечерних поверках читались бесчисленные

расстрельные приказы. В пятидесятиградусный мороз заключённые-музыканты из „бытовиков“ играли туш перед чтением и после чтения каждого приказа. Дымные бензиновые факелы не разрывали тьму, привлекая сотни глаз к заиндевелым листочкам тонкой бумаги, на которых были отпечатаны такие страшные слова. И в то же время — будто и не о нас шла речь. Всё было как бы *чужое, слишком страшное, чтобы быть реальностью* (Выделено мной — С.Б.).

Но туш существовал, гремел. Музыканты обмораживали губы, прижатые к горловинам флейт, серебряных геликонов, корнет-а-пистонов. Папиросная бумага покрывалась инеем, и какой-нибудь начальник, читающий приказ, стращивал снежинки с листа рукавицей, чтобы разобрать и выкрикнуть очередную фамилию расстрелянного. Каждый список кончался одинаково: „Приговор приведён в исполнение. Начальник УСВИТЛ полковник Гаранин“».

«По исследованным архивным документам можно говорить о том, что в Севвостоклаге с 1932 по 1957 гг. содержалось не менее 800 тысяч заключённых, из которых погибло (умерло по разным причинам, расстреляно) до 150 тысяч».

Архив и музей общества «Мемориал»

К началу переписи населения 1937 года в НКВД передано 4 млн бланков переписных листов. Получено же обратно: 2660 тысяч, из которых 270 тысяч — «свои» — обслуга и охрана.

Уровень смертности среди заключённых ГУЛАГа: 1938 году — 91 на тысячу. 1942 году — 176 на тысячу. Последние цифры в семь раз выше среднего показателя по стране.

«В начале 1937 года „лагерное население“ Третьего рейха не превышает 7500 человек, в октябре 1938 года это число увеличивается до 24000».

Ж. Котект, П. Ригуло. Век лагерей

А «боязнь вызвать недовольство народных масс заставляла тратить на производство товаров народного потребления (в Германии в 1942 году! — С.Б.), выплату пособий участникам войны и компенсаций женщинам, потерявшим в доходах из-за ухода мужей на фронт, гораздо больше средств, чем тратили на те же цели правительства демократических государств».

Альберт Шпеер. Из интервью начала 1960

«В годы войны немецким народным судом был отклонён запрос гестапо о наказании берлинских евреев, которые, по мнению партии, продемонстрировали провокационное поведение, подав заявление в магистратуру города о злоупотреблениях в распределении кофе среди членов общины».

Э. Нольде. Европейская гражданская война

В 1942 году, Шпеер предложил ввести трудовую повинность для немецких женщин. Но взрыв общественного негодования, сопровождающийся массовой демонстрацией, вынудил его отступить.

А об уровне социального контроля, литературной и почтовой цензуры в воюющем Третьем рейхе говорит книга стихов военного медика, с 1940 года работавшего в штабе вермахта на Бендлерштрассе, знаменитой улице, где располагались административные аппараты Кейтеля, Фромма, Канариса. Стихи были опубликованы частным издательством в виде маленькой книжечки «22 стихотворения»

с инициалами автора: Г.В. — на обложке в августе 1943 года. Потом они без каких-либо опасений были разосланы Готфридом Бенном своим друзьям и знакомым. Стихи были, например, такие:

«Мозги — во лжи, кишки в зловонной слизи, / Народ-герой избрал себе паяцев — / гадать по звёздам и полётам птиц, / по собственным отбросам, о рабы — / среди снегов и в солнечных пустынях — / рабы, рабы, рабы — рабы без счёта / голодные — на кнут и пряник — толпы. / О самость! И пушок на подбородке / прыщавом мнится бородой пророка».

И далее — 64 строки в том же духе.

«Архивные исследования 1990 годов поставили под сомнение пресловутое всемогущество террора и пропаганды. Поскольку „страшное“ гестапо на самом деле испытывало недостаток кадров и было малоэффективным».

Клаудия Кунц. Совесть нацистов

«В 1942 году в ГУЛАГе — 372 тысячи смертей. 18,5% от общего числа заключённых».

Николя Верт. История советского государства

А ежемесячная смертность гражданского населения на неоккупированной части СССР в этот же год составляет около 300 тысяч. В таких тыловых городах, как Иваново, Пермь, Киров, Красноярск и многих других умирал каждый второй новорожденный. На занятых вермахтом советских землях погибло около 4 млн человек. Из них — 2 млн евреев. На тыловых территориях сверхсмертность — 3, 34 млн.

Нужно понять такую вещь: в том же (1942) общее количество человеческих потерь в Европе (воен-

ные и гражданские потери) было не менее четырёх миллионов.

А за десять лет до этого только за один год на территории мирного СССР погибло от искусственного голода около 8 миллионов не «заключенных» землепашцев.

Виктор Астафьев рассказывает о судьбе своего прадеда, сибирского крестьянина:

«...Он и пострадал за меленку (которую сам и строил) — его, голубчика, ста двух лет сослали в Игарку, где он в первый же день помер».

В. Астафьев. Печальный монолог

А в городах

«жить было совсем невозможно — был голод, была бездомность, был ужас, который нельзя себе представить, была страшная грязь, абсолютная нищета».

Надежда Мандельштам. Вторая книга

«Отсутствие простых, но необходимых предметов — инструментов, утвари, столовых приборов, кружек, обуви и пряжи — заставляло рабочих рыться в мусорных ямах на заводах и возле городских базаров в рабочее время».

В. Голдман. Проза о советском паспорте.

«Когда в 1935 году начался учебный год, в магазинах Ярославля не нашлось ни одной пары детской обуви».

Шейла Фицпатрик

«...Чувство чумы, гибели, ядовитости самого воздуха, окружающего нас».

Евгений Шварц. Из дневника. 1937 год

Очевидец, шестнадцатилетняя девушка из Уфы, свидетельствует:

«Жестокой пятидесятиградусной зимой (1939–1940 года) люди замерзали в хлебных очередях. Занимать очередь надо было вечером и стоять до утра, пока откроются двери магазина. Отлучившихся очередь вышвыривала — закон её был жесток. Ранним утром по маршруту расположения булочных двигались грузовики: подбирали трупы замёрзших, в основном стариков и детей».

Нелли Морозова. Моё пристрастие к Диккенсу. М., 2011

«Я родился в глухой русской деревушке. В результате коллективизации наша семья переселилась в Москву. Жили мы в кошмарных условиях. Достаточно сказать, что первый раз в жизни я имел отдельную кровать и трёхразовое питание из отдельной посуды, когда я попал в тюрьму в 1939 году. А до этого был холод, голод, грязь, и после этого — то же самое».

*Александр Зиновьев. Из интервью Джону Гледу.
Мюнхен 1988 год*

Политэмигрантка из Германии середины 1920 годов М. Фишер в своих мемуарах, опубликованных в Англии в 1944 году, пишет, как её сын школьник после нескольких лет жизни в СССР в 1931 году оказался за границей, в Риге, и увидел там настоящий белый хлеб. «Зачем они красят хлеб в белый цвет?» — спросил он.

Доля, собственно, ГУЛАГа (лагерной экономики) в общем объёме промышленного производства в СССР, вопреки распространённому представлению, была небольшой.

«Согласно „Народно-хозяйственному плану 1941 года“, валовая продукция промышленности страны должна была составить 162 млрд рублей, в том числе на долю НКВД приходился 1 млрд 969 тысяч, или 1,2%. Участие НКВД распределялось неравномерно: добыча угля — 3%, нефти — 0,7%. В станкостроительной, химической промышленности, в сельскохозяйственном и транспортном машиностроении — практически ноль. Но — 100% производства фотоаппаратов и фотоплёнки (знаменитый завод ФЭД). В деревообрабатывающей промышленности НКВД давал 10%–40% продукции, в капитальном строительстве 14,8% всех производимых работ».

Сергей Максудов. Потери населения СССР

В отличие от локусов немецких лагерей, пространство несвободы и ужаса в этой России не только повсеместно, но и запредельно. Оно начинается там, где уже всё кончилось. Везут в него далеко и издалека, но оно — всегда рядом. Границы (рамка) между ним и внешним миром размыта или отсутствует. Это не «концентрационный» лагерь. Что-то прямо противоположное. Спецпереселенцы, «оставленные навечно в местах обязательного поселения», просто высланные, ограниченные в правах, мобилизованные на лесоповал, просто трудящиеся в колхозах, — как бы размазаны по этой безысходной протяжённости. «Большая зона». Болотистая пойма «реки Потудань». Если смотреть сверху, паря

«над плоской, могильной, обледеневшей пустыней деревенской ночи»

(И. Бабель. Гапа Гужва),

то в разных точках этого мира, не обязательно огороженных «колючкой», возникают пульсирующие ключья тьмы.

И — миллионы сгинувших там, во тьме, без вести. Сгинувших, истаявших до невидимости, («пройди свет») даже если они биологически живы.

«Всю войну и десять лет после тётя Таня проработала на ферме без выходных и отпусков, на руки её страшно было смотреть, и сама она стала худа до прозрачности — пройди свет».

Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени

«Нет, не мигрень, но голос пространства бесполого / треск раздираемой марли и грохот гитары карболовой».

О. Мандельштам

«Эти старые карты ада просто существуют, как существует сам ад».

Сергей Переслегин. Репетиция оркестра

Немецкий концлагерь 1937 года —

«настоящий рай по сравнению с саманными лачугами Караганды. В каждом бараке есть умывальная комната с умывальниками и кюветой для мытья ног, туалетной кабиной... и у каждого заключённого собственная койка, да ещё с матрасом!»

Маргарет Бубер-Нойман (заключённая Карагандинского отделения ГУЛАГа, которую НКВД выдал нацистам, а те поместили её в Равенсбрюк). Заключённые у Сталина и Гитлера

Бухенвальд, близ Веймара на горе Эттельсберг. На территории лагеря долгое время сохранялся дуб, под которым, говорят, в старости сиживал Гёте. Возможно, повторяя нацарапанное алмазом на стекле в юности: „*balde Ruhest du auch*“ («пожди немного, отдохнёшь и ты»).

«...Дуб говорил о том, что расти означает раскрываться навстречу широте небес, а вме-

сте корениться в непроглядной темени земли. И дуб продолжает по-прежнему говорить это просёлку, который, не ведая сомнений в своём пути, проходит мимо него».

Мартин Хайдеггер. Просёлки

Лагерь начал функционировать 19 июля 1937 года.

К лету 1939 года почти опустел. Около 5 тысяч заключённых — немецких евреев — были освобождены, однако их лишили имущества и заставили покинуть Германию. Наверное, тогда они проклинали эту участь.

А в последние военные годы SS организовали там самоуправление заключённых, где все ключевые должности занимали поставленные нацистами немецкие коммунисты — «красные капо», составляющие около 4% от числа узников. Сразу после окончания войны, Бухенвальд, оказавшийся в зоне советской оккупации, был превращён в спецлагерь НКВД для низовых нацистских функционеров. Суровой зимой 1946–1947 года четверть узников умерла от голода.

И, хотя война всё радикально изменила, но в Дахау в 1942 году по просьбе Ватикана свезены все заключённые в другие лагеря католические священники. Их не используют на тяжёлых работах.

«Условия в блоке 26 давали даже некоторую возможность интеллектуальной жизни. Жан Эколь, до заключения преподававший философию в Майенском католическом коллеже, здесь начинает свои комментарии к Сартру и его последней на тот момент книге (со знаковым для времени её создания названием — С.Б.): „Бытие и Ничто“».

Ж. Котек, П. Риголо. Век лагерей

Впрочем, военнопленный младший офицер вермахта Конрад Лоренц умудряется в условиях послевоенного, уже советского концлагеря в Армении на обрывках использованных мешков из-под цемента написать (заедавая работу «мягкими брюшками скорпионов») и вывезти на родину одну из главных в XX веке книг о человеке: «Так называемое зло (Об агрессии)».

В итоге, придя к очень невесёлому, но фундаментальному, выводу:

«Внутривидовая агрессия на миллионы лет старше личной дружбы и любви».

«Штейнигер обнаружил на маленьком островке Нордероог в Северном море несколько крысиных стай, которые поделили землю, оставив между собой полосы ничьей земли (нейтральные полосы — С.Б.), в пределах которых идёт постоянная война. Так как фронт обороны для малочисленного народа относительно более растянут, чем для большого, первый оказывается в невыгодном положении. Напрашивается мысль, что на этом островке будет оставаться всё меньше и меньше крысиных популяций, а выжившие будут становиться всё многочисленней и всё кровожаднее, так что премия отбора назначена за усиление партийной ненависти».

Конрад Лоренц

В бюллетене БРП (Бюро расовой политики) Конрад Лоренц, член нацистской партии, много позднее получивший Нобелевскую премию по этиологии, публикует статью, где уподобляет Volkskörper (тело нации) с «дефектными» членами здоровому человеку со злокачественными опухолями.

«К счастью, — уточняет он, — оперировать сверхиндивидуальный организм куда легче и не так опасно, как индивидуальный».

А на другом конце континента Варлам Шаламов формулирует:

«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если беда и нужда сплотили, родили дружбу людей — значит, это нужда не крайняя и беда небольшая».

Галина Улановская свидетельствует, что в Новошахтинске (лагерь под Воркутой) крысы в бараках часами играли с маленькими детьми.

5 октября 1941 года в своей речи по поводу праздника урожая Герман Геринг говорит о «большой расовой войне»:

«Выстоят ли арийцы, или миром овладеют евреи — вот о чём идёт сейчас речь, и за это боремся мы на фронте».

В тот же день рейхсфюрер SS Генрих Гиммлер издаёт указ о том, что все евреи, находящиеся в концлагерях немецкого рейха, должны быть депортированы в Аушвиц.

Через две недели, 24 октября 1941 года, ловушка захлопывается — шеф гестапо Мюллер запрещает эмиграцию евреев за пределы Европы. Нужно вспомнить, что на этой территории уже почти два года шла Вторая мировая война. Значит, даже в ходе её начальной фазы кому-то из них ещё удавалось спастись. Разграничительная линия: жизнь — смерть с этого дня проходит по западной границе Генерал-губернаторства (Польша). В самом рейхе еврей можно было уцелеть.

Впрочем, рекорд по уничтожению «своих» евреев принадлежит маленькой Литве: операция по удалению «злокачественной опухоли этого сверхиндивидуального организма» была проведена успешно:

из 220000 евреев, живших на её территории, к началу 1943 года уничтожено 199000 – 95%.

А из 3300000 польских евреев – 3000000 – «только» 91%.

«7 августа 1942 года в городке Новогрудок (там родился Адам Мицкевич, и его живописные окрестности описаны в „Пане Тадеуше“) проходила ликвидация. Литовские солдаты и полицейские обыскивали подвалы и чердаки в поисках спрятанных еврейских детей. Найденных вышвыривали из чердачных окон на мостовую, мёртвых укладывали в мешки и грузили в машины к живым. Дети в грузовиках не плакали. Можно было услышать только слабое хныканье... В тот день было расстреляно около пяти тысяч евреев из гетто на Пересеке».

Д. Каган, Д. Коэн. Холокост и сопротивление на родине Адама Мицкевича М., 2011

Окончательное решение

«Когда в лесу на торфяниках в ранний пред-рассветный час насмешливо прокричала кукушка, вестник нездешнего мира, вышли из гробов мёртвые и явились мне. Я вновь посетил их дома, поднялся по лестнице дома на Гейльброннской улице, слушал его музыку и гомон...

Аскетическое, сосредоточенное выражение на физиономии доктора не было напускным».

Эрнст Юнгер. Излучения

«Предметом его (доктора Геббельса и всей немецкой „правой“) ненависти было польско-еврейское „содружество сверстников, крайне многозначительный, но совершенно забытый

источник — не революции, но революционного духа в XX веке“.

Ядро этой среды составляли ассимилированные евреи из семей среднего класса — их культура была немецкой... их литературные вкусы были безупречны... политическое воспитание — русским, а моральные стандарты в частной и в общественной жизни — исключительно их собственными. Эти евреи — крохотное меньшинство на Востоке, ещё меньший процент ассимилированного еврейства на Западе — стояли вне всяких социальных категорий... и создали — в своей поистине блестящей изоляции — собственный кодекс чести, который затем привлёк к ним довольно много неевреев... в том числе Феликса Дзержинского».

Ханна Арендт. Человек в тёмные времена

«Мир... должен с напряжением всех сил принять меры против этой породы людей».

Томас Манн. Дневник. 1919

Почти все люди «этой породы», интеллектуальная закваска в бродильном котле Европы, были уничтожены в январе 1918 года, во время и сразу после подавления восстания „*Spartakusbund*“.

А спустя почти четверть века, 20 января 1942 года, в пригороде Берлина Ванзее был принят план промышленного уничтожения уже всех евреев Восточной Европы, хотя ещё некоторое время вяло продолжались разговоры о депортации.

Генрих Гиммлер на этом совещании (не называя автора) использовал текст Эйке:

«Вы знаете, что такое 100 трупов, лежащих рядом, или 500 трупов, или 1000, лежащих рядом! Выдержать такое до конца и притом, за

исключением отдельных случаев и проявления человеческой слабости, остаться порядочным человеком — вот что закаляло нас...»

«Оглянешься — а вокруг враги; руки протянешь — и нет друзей; но если он скажет: „Солги“, — солги. Но если он скажет: „Убей“, — убей... Враги приходили — на тот же стул садились и рушились в пустоту. Их нежные кости сосала грязь. Над ними захлопывались рвы. И подпись на приговоре вилась струёй из простреленной головы».

Эдуард Багрицкий. ТВС

Адольф Эйхман, руководитель отдела IV-A-4b в главном имперском управлении безопасности (РСХА), получает письменный приказ Гимmlера об «окончательном решении» еврейского вопроса в апреле 1942 и приказ о прекращении этой акции в октябре 1944 года.

«В адекватной трактовке Холокоста его центральным событием следует считать операцию „Рейнхард“ — уничтожение польских евреев в 1942–1943 годах. Польские евреи составляли самое большое еврейское сообщество в мире, а Варшава была наиболее важным еврейским городом. Эта община была истреблена в Трeблинке, Белецке и Собиборе. Почти 1,5 миллиона евреев были убиты в этих трёх местах, из них около 800 тысяч в одной Трeблинке. Белецк — это 434508 смертей.

Ещё около 1 миллиона польских евреев были уничтожены в других местах, в Хелмно, Майдаке или Освенциме, а многие были просто расстреляны карательными отрядами в восточных областях Польши».

Тимоти Шнайдер. Холокост: игнорируемая реальность

«Менее чем за два месяца, весной 1944 года, из Венгрии отправлено 147 составов, увозящих в опечатанных товарных вагонах 434351 человека — газовые камеры Освенцима едва справились с таким наплывом».

Ханна Арент. Банальность зла

Вдоль границ Польши (по состоянию на август 1939 года), на оккупированной вермахтом территории с начала декабря 1941 года по июль 1942 года размещены 6 SS Sonderkommando (специальные команды СС): Освенцим-Биркенау, Треблинка-2, Майданек, Собибор, Белжец и Хелмно.

Это не лагерь, а просто работающие в автономном режиме «*машины уничтожения*», и они не входили в ведение государственной концентрационной системы Третьего рейха и её инспектирующих органов. Они — часть «SS staat» — суверенного «Государства SS».

Треблинка-2. Около 80 километров на северо-восток от Варшавы. Создан в июле 1942. Осенью 1943 года сравнивали с землёй, уничтожив за год около 750 000 евреев. На «тучных» землях строится ферма, и её получает в управление один из охранников-украинцев.

«В Треблинке в газовую камеру (и в ямы для отходов, с горящим мусором — С.Б) отправляют онтологически „неисправимых“ — мужчин, женщин и детей, „нелюдей“, которые, по убеждению нацистов, мешают земле вращаться вокруг своей оси».

Ж.Котек, П. Ригуло. Век лагерей

Именно в Треблинке 5 августа 1942 года вместе с двумя мястами воспитанниками «Дома сирот» был убит Януш Корчак.

«Нет ни одного кадра (кинохроники — С.Б.), который бы показывал само уничтожение евреев, осуществление Холокоста в лагерях смерти».

Клод Ланцман. Шоа

Новейшие инструментальные методы исследования «культурного пласта», связанного с Холокостом, не могут однозначно установить, что скрыто там, внизу. Что они могут выявить, так это только контраст между поверхностными и глубинными слоями. Попытки аутентичного «прочтения» этого «текста» затруднены также послевоенными раскопками мест массового захоронения евреев польскими крестьянами в поисках золота. Историк Ян Томаш Гросс утверждает, что:

«мародерство в годы (и после) Второй мировой войны носило в Польше массовый характер».

К поездам, делающим остановки по дороге в Треблинку, стекалось население окружающих деревень, обменивая глоток воды на часы и драгоценности едущих на смерть евреев.

А вот как это выглядело на моей родине:

«20 февраля 1943 года на станции Мичуринск наш эшелон стоял рядом с эшелонами пленных. Здесь были итальянцы, румыны, югославские евреи из рабочего батальона. На платформах валялись десятки жёлтых трупов. Их крайняя истощённость свидетельствовала, что причиной смерти был голод. Однако достаточно было взглянуть в окно, чтобы понять, что пленные страдают от жажды больше, чем от голода. Через окна шла жуткая торговля. Жители подавали туда грязный снег, смёрзшийся, февральский, политый конской мочой, осыпанный угольной пылью. За этот снег пленные отдава-

ли часы, ридикюли, кольца, легко снимающиеся с истощённых пальцев. Вдоль окон ходила маленькая девочка с испуганными глазами. Она давала большие куски снега — бесплатно».

Борис Слуцкий. Покуда над стихами плачут

«С исторической точки зрения мы, например, знаем в мельчайших подробностях, как в Освенциме происходила финальная фаза уничтожения. И всё-таки сами события, которые мы можем описать и расположить во временной последовательности, почему-то, как только мы пытаемся по-настоящему понять их, вдруг *оказываются непрозрачными*».

Дж. Агамбен. Ното Sacer (Что остаётся после Освенцима)

Возможно, потому, что «сумрачный германский гений», формирующий Европейскую ночь, сделал ставку на *абсолютное* небытие. В совершенстве овладев, — по Лосеву — «Меональной онтологией». *Слепящая, сжигающая сетчатку воспринимающего глаза, тьма Освенцима.*

Освенцим — Биркенау (Аушвиц), (лагерь-зондеркоманда), с весны 1942 года становится главным центром уничтожения европейских евреев. Демонтирован в январе 1945 года.

Итог работы этого устройства — около 1 000 000 смертей. Один миллион.

Расовое безумие. Возможно, гиперкомпенсация за вытесненную в клетку «Версаля» национальную идентичность. Или — сухая возгонка национальной идентичности. Почти невозможно понять, что происходит с людьми, когда убийство из единичного, окрашенного экзистенциальными обертонами акта

становится бытом. Не пять, не «пятьсот или тысяча», а — пятьсот тысяч.

Юнгер пишет о редком

«сочетании презрения к человеку, атеизма и острого технического ума, то есть таких свойств, которые одно другое поддерживают».

Но, безусловно, здесь был необходим ещё и жреческий компонент, и использование практик аскезы. Что, впрочем, не мешало функционированию на территории лагеря оздоровительного профилактория для сотрудников. Эйке говорил о необходимом для качественного совершения расовой работы «состоянии максимального бодрствования» и техниках обучения этому состоянию.

Бернард Руст — рейхсминистр науки и образования.

«Солдат с боевыми наградами, прошедший войну и страдавший от тяжёлого ранения в голову. Твёрдый старый боец, в 1930 году потерявший место учителя старших классов, поскольку прямо нарушил запрет на политическую деятельность».

Клаудия Кунц. Совесть нацистов

Что-то такое постоянно встречаешь в литературе о «кристальной честности» чекистов первого призыва. Транс на основе многодневной бессонницы.

Возможно, таким образом активировалась так называемая Р-компонента, древнейший, связанный с «рептильным мозгом» поведенческий субстрат, превращающий чекиста или эсэсовца из зондеркоманды в динозавра-убийцу.

Впрочем, необходима также была длительная шлифовка «структур повседневности», «обкатыва-

ние» их до такого состояния, что массовая смерть, как для её исполнителей, так и для жертв, становилась просто частью особого рода обыденности.

Смотри, например, *Мафек Эйдельман*.
«И была любовь в гетто». М., 2010

А юридическое закрепление практик массового уничтожения людей на территории северной Евразии было достигнуто заключением *«Генерального соглашения о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности»*, подписанного 11 ноября 1938 года в Москве Генрихом Мюллером от гестапо и Лаврентием Берией от НКВД.

М. Ганелин. СССР и Германия перед войной. СПб. 2010.
С. 107–108

«В апокалипсисе Аушвица открылась сама сущность Запада — и с того времени она открывается непрестанно».

Бруно Лакурб

Witold Pilecki — разведчик АК (Армии крайовой), внедрённый в Аушвиц в 1942 году, сумевший выбраться оттуда с отчётом, предоставленным польскому правительству в изгнании в Лондоне. Его описания происходящего там просто никто не поверил.

Впоследствии, в 1948 году он был уничтожен уже в коммунистической Польше.

«Гипотетический наблюдатель будущего, перемещённый в центр Европы из 1900 года в 1942 год и вернувшийся обратно с объективным отчётом, был бы, несомненно, признан умалишённым».

Станислав Лем

А «обнаружение „последних“ смыслов в этой ситуации, как правило, упирается в смерть».

А. Гольдштейн. Памяти пафоса

И — в «одинокость в смерти».

Чеслав Милош о Целане

Чтобы всё же понять это — нужно, в частности, прочесть тексты:

Пауля Целана (1920–1970),

Тадеуша Боровского (1922–1951).

Оба — жертвы того, что можно назвать «отложенным геноцидом»: самоубийство вследствие невозможности изжить (вытеснить) травму лагеря.

Тадеуш Боровский родился в Житомире. Родители в начале 1920 годов — спецпереселенцы на русском Севере, где провели около 10 лет. Чудом с двумя сыновьями выбрались в Польшу перед войной. Во время немецкой оккупации работает кладовщиком на складе в Варшаве. Учится в подпольном университете. Создаёт литературную группу. В 1943 году — Освенцим–Биркенау. Летом 1944 года этапирован в Дахау. Сразу по окончании войны — лагерь для перемещённых лиц. Собственно ранний детский опыт — ссылка на советском Севере, а поздний юношеский — Освенцим и послевоенные (фильтрационные) лагеря. Траектория его взгляда: от «звёзд, гнездящихся в кронах варшавских платанов», до лагерного пепла. И ниже.

Фильм Анджея Вайды по циклу его рассказов, опубликованных в Польше в конце сороковых и вызвавших общественный шок: «Пейзаж после битвы».

«Есть только тела и летучего пепла сугробы /
и небо, готовое хлынуть в пустые орбиты. / Нас

порознь согнали со всех уголков Европы. / И порознь уходим — вглубь леса, в землю убитых».

*Тадеуш Боровский. Польская поэзия в переводах
Анатолия Гелескула*

«Земля убитых» — точный антоним тому, что за десять лет до произнесения этих слов сформулировал Экзюпери: «Планета людей».

Как полярики из детской книжки «Плутония», европейцы незаметно для самих себя перебрались *внутрь* «шарика», и их небом стала обратная сторона земли. Где, если поднять голову, то над ней и «над хаосом мёртвой материи плывёт неяркое, потухающее светило».

Георгий Демидов. Чудная планета

Солнце мёртвых

Возникновение метафизики «земли убитых»: новое небо и новая земля.

На подступах к теме Осип Мандельштам в «Стихах о неизвестном солдате» (1937) вводит образ «воздушной ямы». По-видимому, — предшествующей земной.

Что-то вроде ментальной «чёрной дыры». А, возможно, черновая копия одной из тщательно укрытых точек «мультиверсума». Лунка истории.

«Гитлер оформил закат Европы в смысле игры в гольф — закатив континент в лунку истории».

Пьер Дриле ла Рошель. Дневник 1944 года

Сегодня, вспоминая Франца Кафку и одновременно современную астрофизику, мы скажем: «Кротовьи норы».

«Теология Пауля Целана предлагает новую форму отрицания, которая постигает пассивную и исчезающую Божественность».

Моше Идель. «Псалом» Пауля Целана — откровение, ведущее в ничто

Проблема топики этой местности, (пространства исчезновения), не обозначенной ни на одной карте.

И осуществлённый проект: уничтожение следов исчезновения.

«Мы в воздухе роём могилу, / ведь там не тесно лежать».

Пауль Целан. Фуга смерти

Это написано в 1947 году.

А спустя несколько лет, прислушиваясь к шороху пепла внутри, он понял, что ищет всё же не там:

«Земля была в них, и они рыли, доподлинно зная, что никто (их) из неё снова не вылепит».

Речь здесь о судьбе «репатриантов в местность смерти».

Язык «не создал слов для того, что произошло».

Пауль Целан

И люди, чтобы просто продолжать жить, пользовались «старыми заготовками».

В родном городе Целана

«большая часть еврейского бюргерства лежала и верно хранила своё австро-немецкое культурное наследие. В каждой „хорошей“ семье была библиотека с красными и коричнево-золотыми дорогими томами немецких классиков и романтиков. Но тот немецкий, на котором говорили в Черновцах, пользовался дурной сла-

вой из-за своих искажённых структур и особых фразеологизмов. Жители города подтрунивали друг над другом».

Илана Шмуэли. Скажи, что Иерусалим есть

И, наверное, в головах многих из них, смешиваясь с мазурками Шопена, до самого конца, под сурдинку звучала мелодия марша Радецкого. Но их империя пала, выход из «вероятья в правоту» был наглухо закрыт.

И музыка Шопена уже не годилась. Она была выброшена на свалку за ненужность, как рояль Фредерика, выкинутый в прошлом веке из его варшавской квартиры русскими солдатами.

Да, и слова, жившие внутри неё, слова, с помощью которых пытались понять происходящее, с некоторого времени, тоже не годились. Потому что, как столетие назад сформулировал Новалис:

„...der Boden ist arm!“ — почва (из которой они росли — С.Б.) оскудела.

Мать Целана, ещё с отрочества восторженная почитательница Клейста, Новалиса и Тика, была застрелена по дороге в Транснистрию при переправе через Буг конвойным из «Железной гвардии».

«Легион Михаила Архангела» или «Железная гвардия». Массовое православно-фашистское движение, основанное в 1927 году в Румынии и специализирующееся на убийстве левых и прозападно ориентированных политиков и общественных деятелей.

И грезились им, что их кровь — это не жидкость, а свет, а кровь чужих — медленная река с ядовитой чёрной водой, растворяющей саму жизнь. И нужно было поверить в Движение, потому что оно

«было единственным признаком того, что твоя страна может быть чем-то кроме вымысла», и, чтобы она стала реальностью, «легиону придётся выкупить прошлое Румынии, опираясь на уникальное и вдохновенное безумие... Я никогда не устану повторять: „далеко не каждый заслуживает жизни“, — формулирует один из ведущих интеллектуалов молодого поколения Румынии Эмил Чоран.

Когда 20 января 1941 года начался легионерский мятеж, то три дня в пригороде Бухареста Страулешти продолжалась бойня. Евреев убивали студенты, рабочие крупных заводов, и даже лицеисты.

Словно тень графа Дракулы, просочившись из трансильванской почвы, сгустилась, стала плотной деятельной и подвижной.

«Ужас румынских концентрационных лагерей был более сложно организованным и более чудовищным, чем всё то, что мы знаем об аналогичных акциях в Германии».

Ханна Арендт. Банальность зла

«Яркий свет дуговых ламп Просвещения (позволял увидеть, как — С.Б.) немецкий язык переживал процесс разложения, в ходе которого, он буквально на наших глазах распался на гниющие части и истлел».

*Э. Розеншток. Цит. по Димитрий Сегал.
Литература как охранная грамота*

„*Ihr sterbt mit allen Tieren / Und es kaumt nichts nachner*“.

«Я и звери — мы все уйдём / и закроем дверь в никуда».

Бертольд Брехт

Красные и коричнево-золотые респектабельные тома исчезли, уступив место плохо склеенным

книжкам и рукописям на дешёвой серой бумаге. И главные слова, теперь уже на русском, были найдены именно в них. Слова были о «роющих» землю на Востоке и о вещах, происходящих с «диггерами»:

«...его плоть истощалась в глинистой выемке... сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зубринами... (он) почувствовал тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу...»

Андрей Платонов. Котлован

Чтобы хоть немного «въехать» в это и попасть туда, где уже нет зренья, мы, пройдя «разряды насекомых с наливными рюмочками глаз», должны вспомнить скорее Фабра, чем Шелера или Хайдеггера.

Андрей Платонов, возможно, первое из человеческих существ Нового времени, начавшее не только ощущать, но и переводить в знаки абсолютную новизну происходящего с ним и вокруг него. В этом тексте главное — морфологически точно схваченная динамика психосоматической метаморфозы. «Тоскливая нервность» перед сбросом оболочки. Истощение «вещества существования» на краю бесцельно растущей пустоты, принявшей в этом воплощении форму строительного котлована.

А другой путешественник в отчаянии от невозможности справиться с происходящим в мире выших млекопитающих декларирует свой вариант выхода «из вероятья в правоту»:

«К кольцецам спущусь и к усоногим, / про-
шуршав меж ящериц и змей».

Это Манделыштам — о напрасных поисках адекватного языка в ситуации отсутствия ампутированных

органов чувств, а также о поисках предельной этической константы, соответствующей происходящему. Овладение языком фантомных болей.

Метаморфоза внутри биологического вида (речь идёт о насекомых) полностью блокирует то, что мы называем памятью. Впервые об этом догадался Норберт Винер в начале 1950 годов. Смотри его «Кибернетику и общество».

И культура — всегда, в лучшем случае, только тень, оставшаяся от метаморфозы. То очень малое, что, всё-таки, можно рассказать. Вытеснить в речь, чтобы защититься. С неизбежностью пожертвовав главным.

Только — «Тень минувшего».

Возможно, автор, сам того не подозревая, активизирует (смутно вспоминает, спускаясь во внутреннюю нору, которая намного глубже платоновской «пещеры») ментальную матрицу эпохи заката вытесненных с поверхности земли в подземные убежища и добитых там неандертальцев. Фундаментальный опыт гибели предшествующего нам человеческого вида, отображённый внутри каждого из нас. Победителей.

Кости, которым удалось прорвать «непрочную кожу», а потом обрасти новым мясом — это необходимый компонент, очень давно вложенный в человеческое существо.

«Около 40 тысяч лет назад в Европу проникли кроманьонцы с их современными скелетами, превосходным оружием и другими признаками сравнительно развитой культуры... А несколько тысяч лет спустя в Европе полностью исчезли неандертальцы, единственные её обитатели на протяжении сотен тысяч лет».

Джаред Даймонд. Ружья, микробы и сталь: судьбы человеческих обществ

Мечтательные аутисты, почти безропотно давшие себя уничтожить.

Попытка внятного литературного осмысления этой ситуации — в повести английского нобелиата Уильяма Голдинга «Наследники».

В пещере Эль-Сидрон на севере Испании, образовавшейся в результате карстового обвала, были найдены раздробленные кости, принадлежащие, как показала генетическая экспертиза, «семейной группе, связанной тесным родством». Три взрослых мужчины, три женщины, три подростка и три ребёнка 5–9 лет. Они были убиты и съедены, «до мозга костей» включительно, около 50 тысяч лет назад.

«Вот замечательный сюжет для любителей так называемой альтернативной истории: 100 тысяч лет назад Африка оказалось начисто изолированной от остального мира, и на планете возникли две цивилизации — кроманьонская в Африке и неандертальская в Евразии. Случись такое, флегматичные неандертальцы, может быть, создали бы что-нибудь более пристойное, чем то, что мы видим вокруг себя... Впрочем, вряд ли. Скорее всего, дело и в этом случае закончилось бы кроманьонской конквистой с „окончательным решением неандертальского вопроса“».

Кирилл Еськов. Удивительная палеонтология

«Более пристойное», возможно, состояло в том, что неандертальская матрица включала в себя жёсткую блокировку механизмов предельной индивидуализации, отчуждения. Неандертальцы были встроены в живые ритмы планеты и ближнего круга живых существ, растений, воды и минералов — жили внутри смыслов, порождаемых их текучим

и неопределённым движением. Их когнитивные «карты местности» были своего рода голограммами, изнанка которых выводила их носителей прямо на «тропы сновидений». Для них не было ничего более чуждого, чем создание орудий для вскрытия и освоения потаённого — техники. И будто специально для их уничтожения был создан «инструментарий сборки ситуаций и проектирования замыслов» (А. Неклесса). Предком современного философского скальпеля были архетипы орудий поражения, брошенные в реальность с началом кроманьонской конквисты. И при столкновении с этой силой у аборигенов просто не было шансов.

Итог — стоянки неантропов в Европе: кострища, окружённые кольцевым «культурным слоем» из раздробленных человеческих костей. Толщина слоя — до метра.

«И вот зола... Она осталась от того, чего нет, и не будет более. И вот зола именно в этой точке. Не здесь, но там, как нуждающаяся в рассказе история».

Жак Деррида . Золы угасшей прах

Разбитые на мелкие осколки амфоры черепов, некогда хранившие выеденный мозг, в который был упакован культурный код съеденных.

«„Падаль“, — выдохнет он, обхватив живот, /
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц».

Иосиф Бродский

Тридцатые годы XX века в России всё же сохранили какие-то детали того, что случилось, хотя большинство присутствующих просто ничего не за-

метило. Смысловая селекция реальности, которую провели победители, была всеобъемлющей. «Продвинутые» пытались объясняться с привлечением гегелевского метода. Философ Густав Шпет даже закончил в томской ссылке перевод «Феноменологии духа» на русский за месяц до того, как был расстрелян. Но классическая философия не очень подходила для описания итогов этой работы.

Это также «голос пространства бесполого», услышанный Осипом Мандельштамом. Автор фиксирует происходящее с его восприятием на пересыльном этапе. Например, такое: «Глаз превращался в хвойное мясо».

Но «самое само», по выражению А. Лосева, оставалось скрытым.

Была создана и заработала, впервые с древнеегипетских времен, инициированная русским модернизационным проектом «мегамашина». Только вектор этой модернизации был направлен назад. Штурм неба оказался дорогой в местный Египет. Жрецы включили реверс, мир стал проваливаться вниз, и десятки миллионов человеческих существ оказались встроенными в детали этого устройства — «человейника», успешно обеспечившего «остановку мира», и сопутствующее ей исчезновение времени. Представление о времени как особой субстанции, которую можно (и нужно) переформатировать — один из опорных элементов советской культуры 1930 годов. Умный очевидец, убитый НКВД только в 1941 году, так описывает онтологию происходящего:

«Вдруг предчувствие непоправимого несчастья охватывает вас: время готовится остановиться. День наливается для вас свинцом. Катаlepsия времени! Мир стоит перед вами как сжатая судорогой мышца, как остолбеневший от

напряжения зрачок. Боже мой, какая запустелая неподвижность, какое мёртвое цветение кругом! Птица летит в небе, и с ужасом вы замечаете: полёт её неподвижен. Стрекоза схватила мошку и отгрызает ей голову, и оба они, и стрекоза и мошка, совершенно неподвижны».

Л. Липавский. Исследование ужаса

Остановка времени приводит к возникновению того, что, отталкиваясь от юридической терминологии, возникшей в СССР в конце 1920-х годов, свидетель называет минус-пространством.

«О людях, которых столица судит в своих судах и присуждает к отлучению от себя, к высылке за черту, говорят: приговорён к „минус 1“».

Сигизмунд Кржижановский. Штемпель Москва

«Свидетельствование Кржижановским об этом трагическом „минус“-пространстве продолжалось два десятилетия, и что ни год, оно становилось жёстче, страшнее и безысходнее, пока сам свидетельствующий не был поглощён этим пространством в его небытие».

В.Н. Топоров. Миф. Ритуал. Символ. Образ

Последние стихи современника Кржижановского русского поэта Георгия Оболдуева свидетельствуют о предельном градусе отчаяния, охватывающего «поглощаемых».

Перед нами почти протокольная запись происходящего. Текст 1947 года: «Memento mori».

«Бедный дрожащий зверёк, раненный выстрелом, плохо себя ты сберёт: доли не выстроил. Лапы и хвост поджимал, морщился ласково, скраивал свой идеал начерно, наскоро. Сердцем не бейся в судьбу: накрепко заперто, спёрло

дыханье в зобу чуть ли не замертво. Болью предсмертных потуг жил не надсаживай: видно, не нам с тобой, друг, встретиться заживо. Что-то в неожиданной судьбе вышло навыворот, раз не мелькнуло тебе верного выбора. Кровью исходишь, скулишь, жалясь на извергов, тёпленький серый малыш... Сиверко, сиверко. Ноги дрожат и ползут, потные, мокрые, бегом последних минут стёртые до крови. Словно в заветном рывке с силой рванулись и... всё повторяют пике смертной конвульсии. Трепетом самых основ двинуто под руку: скоро тягучий озноб влезет по потроху. Жизнь, что была не полна, — отмель на отмели! — им-то хоть и не нужна, — взяли да отняли. Ихнего права не трожь писком: а где ж оно? Что-то ты дуба даёшь медленно, мешкотно».

«Все, кто будет цепляться за старое, — будут устранены».

Максим Горький

Говоря о Древнем Египте, современный исследователь пишет:

«Это экстраординарное изобретение оказалось самой ранней рабочей моделью всех позднейших сложных машин, хотя детали из плоти и крови постепенно заменялись в ней более надёжными механическими деталями... Никаких сложных энергетических машин, сколько-нибудь сравнимых с этим механизмом, не существовало в мире вплоть до XIV века нашей эры...»

Льюис Мэмфорд. Рождение мегамашин

Но в первой трети двадцатого века Россия инициировала именно раннюю модель:

«Технология: копание, коммуникации, ходы, транспортировка. Она (обязательно — С.Б.)

включает также систематическую, усердную, можно сказать, промышленную переработку кровоточащей плоти».

Драган Куюнжич. Воспаление языка

В 1930 году в СССР создаётся проектный институт «Госпроектстрой» для «снятия слепка» с инновационной методики разработки и внедрения проектов, созданной в США Альбертом Каном. Фирма: *“Albert Kahn Associates incorporated”* в Детройте. Из США выписаны несколько десятков специалистов, и в течение полугода повсеместно

«внедрена стратегия ассимилированного военно-гражданского производства, превращающая все без исключения новые производственные объекты в военные. Даже учебные здания проектировались и строились с учётом будущей военной составляющей».

М. Меерович. Альберт Кан в истории советской индустриализации

По этой схеме в СССР создано более 500 крупных промышленных объектов, ориентированных на запланированную в следующем десятилетии войну. С единственным отличием от американской модели: вокруг них (и внутри) полностью отсутствует социальная инфраструктура.

«Он ходил по баракам и задыхался от смрада. Всякий раз вздрагивал, попадая в это адское жильё, словно погружался в развороченные внутренности гниющей рыбы. Деревянные топчаны были завалены ворохами тряпок, а на большой кирпичной плите в центре барака варилась зловонная пища... В недостроенном бараке запорошённые снегом люди спали, тесно прижавшись друг к другу».

Булат Окуджава. Упразднённый театр

В тексте описывается жилая зона Нижнетагильского вагоностроительного (танкового) комбината на середину тридцатых годов, увиденная глазами одиннадцатилетнего мальчика.

«По будущему городу (Магнитогорску — С.Б) бродили, спотыкаясь, умирающие от голода, мертвенно бледные женщины в не виданных мною чувашских или мордовских костюмах — жёны или вдовы кулаков, работавших на стройках или тоже умиравших где попало. Кладбище росло скорее, чем комбинат. В наскоро построенных бараках жить было невозможно — клопы сыпались с потолков, покрывали стены. Рабочие спали на земле подле барakov...»

В. Каверин. Эпilog

Оплата этой работы — 2 млрд (очень весомых в те годы) долларов США — произведена, в частности, форсированной продажей зерна за рубеж. В августе 1930 года А. Микоян докладывает Сталину:

«Ежедневно вывозим 1,5 миллиона пудов».

С этого момента

«Эпицентры голода сосредоточены в экспортных зернопроизводящих регионах РСФСР. В 1930–1931 году экспорт зерна достигает 700 миллионов пудов, а деревенское население Сибири и Дальнего востока начинает раскапывать скотомогильники».

*Виктор Кондрашин. Голод 1932–1933 годов.
Трагедия российской деревни*

А саратовская крестьянка И.Н Юдина свидетельствует:

«Люди самих себя ели. Мальчик полутора лет в нашей деревне пальцы свои съел, потом умер».

Саратовский школьник видит,
«как на долгушу (конную рессорную платформу без бортов) грузят окоченевшие трупы нищих, ещё вчера просивших милостыню на углу».

К. Алексеевский. Россыпи

На Бутовском полигоне под Москвой всё ещё вручную копают расстрельные рвы. Но в скором времени пришлось найти и применить экскаватор.

Землянки же вокруг промышленных гигантов рыли заступом.

Тогда же, со середины тридцатых, был до деталей разработан регламент убийства больших групп заключённых. Так, по свидетельству бывшего начальника УНКВД по Орловской области Фирсанова, в лесных массивах, куда вывозили ликвидируемых, предварительно выкапывались небольшие деревья с корнями, а после исполнения приговора с помощью подъёмных механизмов или вручную высаживались снова в заполненную расстрельную яму. Лесоустроительные работы были увязаны с ликвидационными. Русский лес.

Центры уничтожения и концентрационные лагеря. Топос этой Европы «размазан», расфокусирован. Но в нём ясно просматриваются чёрные «ядра» мест, где осуществляется массовая смерть.

Если Европу считать, как делает это Марк Мазовер, тёмным континентом, то Украина и Белоруссия в те годы были сердцем тьмы.

«Украина стоит в центре наибольшей катастрофы западного мира. Из 17 миллионов убитых 14 миллионов было уничтожено там, где побывали и советская и немецкая админист-

рации. В тридцатых–сороковых годах Украина была опаснейшим для жизни местом в мире».

Тимоти Снайдер. Кровавые земли

Восстание Богдана Хмельницкого, положившее конец восточноевропейскому Ренессансу и описанное выпускником острожской иешивы Натаном Ганновером в трактате «Йевен метцулах» (Пучина бездонная), было прологом к тому, что произошло в этой местности в двадцатом веке. За вторую половину 1941 – начало 1942 года 12 тысяч молодых украинских полицейских под руководством 1,5 тысячи эсэсовцев уничтожили около двухсот тысяч волынских евреев, а в марте-апреле 1943 года, уйдя с немецкой службы и влившись в отряды УПА, опробовали полученный опыт на местных поляках. Результат – около 40 тысяч убитых с особой жестокостью.

Часто «место смерти» и лагерь – это разное.

Можно начать отсчёт с Украины 1930–1933 годов.

Потом, с некоторой паузой, начиная с осени 1941 года, на территории Европы периодически возникают зоны концентрированного уничтожения людей – Транснистрия (территория Украины между Днестром и Южным Бугом) – 1941, 1942 годы, Территория НХГ – Независимого хорватского государства – Босния – 1941–1945. Волынь – 1942, 1943 годы, Восточная Пруссия – январь-февраль 1945 года. Югославия – 1946 год.

«...Лето 1941 года: оккупация, казни, жёлтые звёзды, гетто, массовые депортации в Транснистрию».

Сумевший остаться в Черновицах – и выжить – Целан взят в рабочий лагерь Табарешти.

«О своей работе в лагере он говорил лаконично: „Я копал“».

Илана Шмуэли

Вот как это было в Югославии:

«Настало время, когда язык должен молчать, а говорить должна кровь своей мистической связью с землёй».

*Степинац – архиепископ Загреба.
Циркулярное письмо. 1941 год*

Этот человек был духовным кормчим Независимого Хорватского Государства, по городам которого, как по Арканару, маршировали чёрные католические монахи-штурмовики, вооружённые специальными ножами – серборезами.

Одним из аналитических центров этнических чисток стал францисканский монастырь в Широком Бреге. По личному распоряжению самого знаменитого воспитанника этого монастыря, министра внутренних дел НХГ Анте Артуковича в мае 1941 была устроена массовая резня сербов, жертвой которой стали около четырёх тысяч человек.

«Один студент, изучавший в Широком Бреге право, вышел победителем в соревновании, перерезав специальным ножом горло 1360 сербам, за что удостоился награды – золотых часов, серебряного сервиза, жареного молочного поросёнка и вина».

Ричард Уэст. Иосип Броз Тито. Власть силы

«Специальный нож» – устройство, заказанное силовиками НХГ немецкой фирме «Золинген». Представляет собой короткий и широкий стальной клинок, крепящийся на запястье с помощью широкого кожаного браслета, что оставляет свободной для «работы» кисть руки. Вместе с рядом других «инноваций» широко применялся в системе концлагерей Ясеновац (Jasenovac), просуществовавшей

с августа 1941 по апрель 1945 в пространстве вдоль рек Уна и Сава (4 км на 60 км), 240 квадратных километров классического инферно. Босховско-брейгелевский ад, очень непохожий на немецкий аналог. Итог — около 700 тысяч замученных и убитых.

Архетип таких мест, возможно, укоренён в локусе внутри Европы, переставшем быть частью земного мира между 1 июля и 18 ноября 1916 года. Прямоугольное, поднимающееся чуть вверх поле: километр на пять, на котором шестьсот тысяч разлагающихся трупов.

Общее же число потерь битвы на Сомме за пять месяцев — более 1 миллиона трёхсот тысяч человек.

XX век, похоже, начался именно здесь.

Выживший свидетель: Джон Р. Толкин — автор одной из самых читаемых книг XX века «Повелитель колец» — был там, потерял двух близких друзей. Трилогия — попытка развёрнутого ответа на возникшие вопросы. Среди них главный — утрата равновесия Западом «самость которого погребена» после произошедшего.

«Исцелить душу Запада можно, лишь посмотрев в лицо Тени».

С. Колдекот. Тайное пламя

Но проблема с «посмотреть» в том, что в каждом из сюжетов, связанных с массовым уничтожением, происходящее незаметно уходит за горизонт человеческого. Его не услышать, и оно невидимо. Становится «слепым пятном». Опыт самоубийства вида не воспроизводим существующим банком дискурсов. Небо слепнет. «Зренья нет: Ты зришь в последний раз».

Пафос «Грифельной оды»:

«Мы только с голоса поймём, что там царапалось, боролось...» —

тоже сменяется каменной grimасой окончательной немоты.

«Людвиг Витгенштейн вобрал в себя опыт самоубийства Европы в Первой мировой войне. Он отслужил её всю, но об определённых событиях своей жизни молчит. Всё сделанное им было сбережением того, о чём невозможно сказать. В военных дневниках 1914–1916 годов он занят единственно важным в той ситуации: „Делом хранения бытия“, сохранением „целостности того, что не поддаётся представлению“».

В афоризме 309 первой части посмертно опубликованных «Философских исследований», Витгенштейн говорит о своей цели в философии: «показать мухе выход из мухоловки».

В. Бибихин. Витгенштейн: смена аспекта

«Он сказал: довольно полнозвучья, / ты напрасно Моцарта любил. / Наступает глухота паучья, / здесь провал сильнее наших сил».

Осип Мандельштам

Из «напрасной любви к Моцарту» следует, в частности, довольно безнадёжная методологическая посылка, сформулированная Примо Леви:

«Подлинный свидетель — это тот, кто уже не существует».

Д. Агамбен, цитируя Леви:

«Повторяю — мы, выжившие, — не подлинные свидетели. Мы, выжившие, — не просто меньшинство, мы — отклонение от нормы: благодаря чьему-то попустительству, нашей ловкости или случаю мы не опустились на самое дно. Те, кто туда опустился, кто глядел в лицо Горго-

не, не вернулся, чтобы об этом рассказать, или вернулся неммым, но только они, „мусульмане“, „доходяги“, потонувшие — полноправные свидетели... Правило — они, мы — исключение».

Археология смерти. Те, кого опрашивал Ланцман в «Шоа», вопреки их кажущейся открытости, — не проговорились.

А Шаламов формулирует:

«ледяные борта Ковчега / у последних моих границ».

Чтобы вернуться оттуда (с последней границы) и всё же рассказать об этом (обрести речь), Варлам Шаламов проходит обряд инициации. Включающий восстановление отмершей кожи. А кожа — это, вообще-то, то, чем мы соприкасаемся с миром без посредников. (В. Шаламов. Чёрная мама).

С этого момента он становится абсолютно одиноким и как литератор, и как человеческое существо. Пророчествующий «голосом ночи и лунного света», не понятый никем и не нужный никому.

«Однажды Щипачёв (секретарь Союза писателей Москвы, человек, считавшийся по тем временам необыкновенно либеральным) узнал, что есть такой писатель Шаламов, и прислал своего секретаря, чтобы тот взял стихи и рассказы „для ознакомления“. Это было настолько оскорбительно, что он ничего не дал».

С. Григорьянц. Проза Шаламова

«Колымские рассказы» Шаламова воспринимались первыми читателями с «поставленным» литературным вкусом как тривиальная очерковая проза. В частности, кое-что понимавший в литературе Твардовский не мог понять, что в них такого особенного. А Солженицын замечал:

«беда его рассказов, что расплывается композиция... нет цельности».

Внутренний же опыт самого Шаламова делал его абсолютно глухим к тому, что могло бы хоть как-то подсказать ему возможный «выход из мухоловки» или хотя бы направление движения. Так, он равнодушно читает ошеломившую тогда многих журнальную, публикацию «Чайки Джонатана Левингстона», в которой предприняты первые доступные читателю (сегодня уже кажущиеся наивными) попытки разобраться с «внутренним космосом». С Василием Налимовым, понимающим в этих делах и тоже бывшим колымским зэком, ему встретиться не случилось.

А финал был таким: красномордые молодые парни из КГБ приехали в дом престарелых на улице Виллиса Лациса в Москве, вытащили его на улицу.

«Он как мог сопротивлялся: измождённый, иссохший, этот старик отбивался, срывал с себя то, во что его пытались заматывать, вынося на январский мороз. У него началось острое воспаление лёгких и через несколько дней он умер».

С. Григорьянц

Вселенная его лагерного опыта замкнута. Как сфера Шварцшильда в космогонии чёрных дыр. Публикации его книг не решают проблему доступа.

Глухота. И сопутствующая ей абсолютная невозможность высказаться. Большинство советских солдат, не вернувшихся с Большой войны, так никогда не смогли найти в письмах слова для этого опыта. Смерть многих из них была отнюдь не мгновенной. А выжившие обрубки прикончили уже в начале пятидесятых, отобрав паспорта и солдатские книжки, забросив в товарные вагоны и вывезя невесть куда. Глухо, как из другой вселенной, доносится сегодня,

что просто расстреливали и топили. Рассказать следующему поколению об этом опыте было некому. Общее количество тяжелораненных военнослужащих РККА неизвестно. Но у нас есть соотношение убитых и тяжелораненных в ходе Первой мировой войны французов: 1,3 миллиона к 2,8. Число, получающееся при таком сопоставлении для выживших советских солдат, не может быть меньше 16 миллионов. Доступная же статистика такова: с изуродованными лицами — 501342, безногих — 1 млн 121 тысяча, с частично отсутствующими руками и ногами — 418000, безруких и безногих («самоваров») — 85900. Количество мест в тогдашних домах инвалидов меньше суммы даже этих чисел.

Сейчас стали появляться также первые свидетельства о том, как, например, в действительности выглядел обычный полевой лагерь для советских военнопленных. В опубликованных совсем недавно воспоминаниях немецкого охранника такого лагеря описывается толпа доходяг, пожирающая с земли (и вместе с землёй) мозги одного из их товарищей, застреленного при попытке побега. А вот взгляд не с лагерной вышки, а изнутри и снизу:

«...И утром приходило время уборки трупов. Кстати, если тело было мало-мальски подходящим, то нередко его употребляли в качестве мяса».

А. Филиппов. Дневник отчаяния и надежды. Псков, 2000

В тексте очень значимы эти «кстати», «мало-мальски», «нередко». Реальность, собственно, и прячется за ними.

Впрочем, внятное описание будней тылового военного госпиталя 1944 года в «Весёлом солдате» Виктора Астафьева тоже впечатляет.

А вот воспоминания фронтового связиста:

«Огромное пространство до горизонта было заполнено нашими и немецкими танками, а между танками тысячи стоящих, сидящих, заживо замёрзших наших и немецких солдат... обнявшие друг друга, опершиеся на винтовки, с автоматами в руках. У многих были обрезаны ноги. Это наши пехотинцы, не в силах снять с ледяных ног фрицев новые сапоги, отрубили ноги, чтобы потом в блиндажах разогреть их и вытащить, и вместо своих ботинок с обмотками надеть новые трофейные сапоги...

К весне 1943 года ослепло около трети нашей армии, и солдаты ползали по земле в поисках любой живности. Чтобы стало лучше, достаточно было съесть кусок печени вороны, зайца, убитой и разлагающейся лошади».

Леонид Рабичев. Война всё спешит

А вот как зимой 1942 года это же самое: (гемералопия — голодная слепота) выглядело в тыловом лагере подготовки призывников на моей «малой родине», рядом с Бердском:

«Бродят по казармам, держась за стены, человеческие тени, бродят, словно по текущим облакам, высоко поднимая ноги, шатаясь, падая. Выбираются на улицу, тащатся к помойкам, нащупывают в них очистки, кожуру, жуют грязные отбросы; ослеплённые болезнью, нечаянно сталкиваются друг с другом, с визгом и плачем схватываются драться, да с такой дикой осатанелостью, что дневальные по казарме едва их растаскивают».

Виктор Астафьев. Прокляты и убиты

«Ваш (муж, сын, брат, воинское звание) рядовой Аксельбанд И.И., уроженец УССР Винницкой обл., находясь на фронте, умер от истоще-

ния 27.5.42 г. Основание: сообщение из ЦАМО 9/80989 от 3.4.91».

Цит. по: А. Шнеер. Плен. Иерусалим, 2003. С. 183.

А на другом конце континента, в Хорватии, SS вмешивались в особо жёсткие действия местных боевиков, ограничивая явно «зашкаливающий» уровень насилия.

«Немецкие и итальянские войска не могли без омерзения смотреть на творившиеся вокруг зверства».

Ричард Уэст. Иосип Борз Тито. Власть силы

«Чёрная слепая ярость усташей».

Фон Хорстенау

«В округе Ливно францисканский проповедник обратился к пастве со следующей речью: „Братья хорваты, идите и режьте сербов, и прежде всего зарежьте мою сестру, которая вышла замуж за серба“».

Ричард Уэст

«Первый массовый расстрел еврейских малолетних детей на Украине был произведён 19 августа 1941 года под Белой Церковью силами местной полиции. 6 сентября 1941 зондеркоманда SS, уничтожив в Родомышле 1100 взрослых евреев, поручила украинской полиции убить 561 ребёнка. Энтузиазм (при исполнении — С.Б.) был столь велик и заразителен, что 24 сентября командующий группой армий „Юг“ фельдмаршал Рундштедт издал приказ, запрещающий военнослужащим вермахта (в полном соответствии с параграфом 47 устава вермахта, гласящем, что приказ, носящий преступный характер, не должен быть выполнен — С.Б.) участвовать в эксцессах местного населения».

Марк Солонин. 22 июня

Белорусскую Хатынь сжёг 118 украинский полицейский батальон.

«Мы плывём среди потока лавы, истекающей с какой-то злой звезды на землю».

Ханс фон Лендорф, врач, находившийся в Кёнигсберге в январе 1945 года. (Из письма)

«Румата» из вермахта: Альфред Венк. Развернув свою армию и игнорируя приказ Гитлера: деблокировать Берлин, — с боями отступал на запад, взяв под защиту несколько тысяч штатских: женщин, детей, стариков, подростков. Сдался американцам. По показаниям примкнувших к его войскам людей, он непрерывно и успешно заботился о раненых и заболевших, не оставив ни одного из них наступающей Красной армии.

Вот от чего он их спас:

«Восточная Пруссия, февраль 1945.

Войска наши настигли эвакуирующиеся из Гольдсдама, Инстербрука и других оставленных немецкой армией городов гражданское население. На повозках и машинах, пешком старики, женщины, дети, большие патриархальные семьи медленно по всем дорогам уходили на запад.

Наши танкисты, пехотинцы, артиллеристы... посбрасывали в кюветы повозки с мебелью, оттеснили в сторону стариков и детей, набросились на женщин и девочек... обливающихся кровью и теряющих сознание оттаскивали в сторону, бросающихся им на помощь детей расстреливают... полковник занимает очередь, а майор отстреливает свидетелей — бьющихся в истерике детей и стариков».

Леонид Рабичев. Война всё спешит

Примерно четверть немецких беженцев, два миллиона человек, погибли в результате финального наступления Красной армии.

«...Бесчеловечная месть в отношении этнических немцев со стороны партизан и солдат Народно-освободительной армии Югославии после освобождения страны...

По официальным данным — около 140 тысяч уничтоженных этнических немцев... Среди них — около 20 тысяч детей, удушенных газом. Террор продолжался до конца 1945 года, после чего оставшиеся в живых были изгнаны в Германию... Итог террора в Югославии меньше, чем за год (после окончания войны! — С.Б.): 1 миллион 900 тысяч человек убитых».

Документы об изгнании немцев из Восточной и Центральной Европы». Цит. по М. Семиряга. Коллаборационизм. М., 2000

Говоря о послевоенной Европе, английский историк Кит Лоу формулирует:

«Тяжёлое ощущение непоправимого и окончательного зла, присутствующее повсюду».

«Сараево, 1946. Здесь, как и в Белграде, я вижу на улицах большое количество молодых женщин с седеющими или совершенно седыми волосами. Их лица измучены, но всё ещё молоды, а формы тел выдают их юность ещё очевиднее. Мне кажется, что я вижу, как рука последней войны прошла по головам этих хрупких существ.

Подобное зрелище нельзя сохранить для будущего. Эти головы вскоре станут совсем седыми и исчезнут. Жаль. Ничто не могло бы рассказать более наглядно следующим поколениям о нашем времени, чем эти юные седые женщины, у которых украдена беззаботность юности.

Пускай память о них останется хотя бы в этой краткой записи».

Иво Андрич. Записки у обочины

Европа в эти годы заключает «тайный сговор» между самим существом пространства («кровь и земля») и перерабатывающими его (пространство) технологиями, порождая двойники мест обитания: места смерти. Плодотворная хаотическая сложность постепенно превращается в территории с неконтролируемым насилием. Похоже, мы имеем дело с некромашинами: своеобразными аппаратами, возгоняющими обычную реальность до кондиции «места смерти».

Эти устройства остаются неопознанными до настоящего времени.

Случай Мартина Хайдеггера

Опыт личного «ничто». Формирующая будущее философа «глубокая тоска, бродящая в безднах бытия», насыщенная онтологическим сиротством. Здесь истоки ландшафта целановской «Фуги смерти». Мечтательные глаза сидящего подростка-провинциала, ставшего Мастером времени и заглянувшего ненароком в коллективную могилу Европы.

«Смерть — это мастер германский, / он псами затравит нас, / в воздухе вырыв могилу», — формулирует Пауль Целан.

В юности

«к нему будто намертво пристал „запах маленького человека“. Конец Первой войны он встретит в звании ефрейтора (всю войну про-

кантовавшегося в тылу — С.Б.). В двадцатые годы некоторые коллеги и студенты в Марбурге принимали его за истопника или завхоза».

Р. Сафрански. Хайдеггер: германский мастер и его время

А в начале двадцатых он мучительно постигает топику мира,

«в котором все, у кого есть общественное признание, принадлежат к числу *salauds* (мерзавцев), а всё, что есть, существует в непрозрачной, бессмысленной фактичности, распространяющей помрачение и вызывающей тошноту...»

Согласно Хайдеггеру,

«из непостижимой пошлости общего повседневного мира нет иного выхода, кроме ухода в уединение».

Потому что

„*Das licht der Offentlichkeit verdunkelt alles*“
(свет публичности всё помрачает).

Ханна Арендт. Человек в тёмные времена

Полюс укоренённости в бытии. Нация (руками заключённых) строила уходящие в будущее Объединённой Европы автобаны, а он отдался «кроткой власти просёлков», обещающих верную награду ему — путнику, выбравшему их и прошедшему до конца: укрытость в хижине на склоне лесистого холма. Раскрепощение. Ночной уход, почти побег, из обречённой крепости разума. Чтобы вне её слышать и соучаствовать падению капель дождя и встречному им росту травы и листьев.

Но перед тем как уйти в хижину, в речи, произнесённой им при вступлении в должность ректора университета во Фрейбурге 27 мая 1933 года, он изгоняет «академические свободы» из немецкого университета... Они... означали беспечность, произвол

в намерениях и склонностях, а духовный мир народа... требует... сохранения всех присущих его земле и крови энергий... Понятие свободы немецкого студента возвращается теперь к своей истине, а долгом и обязанностью немецкого студенчества, исходя из этого, становятся «трудовая и военная повинности».

«Мы видим цель философии в служении... Фюрер пробудил эту волю во всей нации и слил её в единую волю. Никто не должен уклониться в день, когда он являет свою волю! Хайль Гитлер!»

Мартин Хайдеггер. Заявление профессоров. 1933 г.

В конце концов эта странная, извилистая «просёлочная» дорога привела его в совсем уже непотребное место: вместе с издателем „*Der Stürmer*“ а Юлиусом Штрайхером, общением с которым брезговали даже некоторые эсэсовцы-интеллектуалы, Хайдеггер входит в Комиссию по искоренению еврейского влияния в немецкой юриспруденции.

Умудрившись одновременно овладеть сакральным языком умолчания, и захлопнуть за собой волшебную дверь, за которой

«пространство открывается посредством того, что преобразуется в жилище человека».

Хижина имени.

Местоимение.

«На крутом склоне широкой высокогорной долины в южном Шварцвальде на высоте 1150 метров над уровнем моря стоит хижина — небольшой лыжный домик. Его площадь: 6 на 7 квадратных метров... Луга и пастбища тянутся вверх по склону до самого леса с его высокими, тёмными, старыми елями... Вот мой мир...

Я постигаю его в опыте жизни: ежечасно, дено и ночью плавает он в великих волнах времён года».

В октябре 1933 года Хайдеггер, не побрезговав, ввёл в этот «мир» своих бывших студентов мужского пола и нееврейского происхождения (большинство из них было уже в нацистской униформе),

«пригласив их провести пять дней в его домике в горах — устроить, как это называлось тогда, „научный лагерь“ („*Wissenschaftslager*“), а своим студентам-евреям посоветовал найти себе других преподавателей».

Клаудия Кунц. Совесть нацистов

Другой полюс (мир чужих, захлебнувшихся в этих волнах), если считать от порога его хижины, — подземное убежище как транзитный пункт на пути в Ничто. Даже вдумчивое чтение трудов Мастера здесь не поможет. Этот опыт является настолько фундаментально зачеловеческим, что отсекает саму возможность любого сообщения о том, что там происходит:

«Я хочу сказать, что эта реальность фактически больше не может быть воспринята индивидом».

Вальтер Беньямин. Франц Кафка

Робинзонада на ещё не открытом острове Коха.

Этот топос изначально тёмный. Орган зрения, позволяющий вводить пространственную перспективу, — как и само пространство — отсутствует. Теснота, являющая себя как слепок самой себя. Движение конвульсивно. Застывание материала маски. Гипс, фиксирующий стадии агонии:

«Почва оказалась рыхлой, землю приходилось прямо-таки спрессовывать... я мог действовать

только собственным лбом. И вот тысячи и тысячи раз подряд, целые дни и ночи я с разбегу бил лбом в эту землю и был счастлив, когда выступала кровь, ибо это являлось признаком того, что стена начинает отвердевать».

Франц Кафка. Нора

Включается теменной глазок, рывками сканируя абсолютно тёмное пространство свободы, возникающее в нескольких сантиметрах позади затылка.

Реальность здесь уходит из поля репрезентации, оставляя взамен отвердевшую «почву и кровь».

Как это происходит, рассказано в книге Джорджио Агамбена «Останки Освенцима».

«Свидетель осознаёт невозможность видеть (происходящее — С.Б.) и одновременно невозможность опустить глаза...»

В трактовке Агамбена, впавший в нечеловеческое состояние «мусульманин» предстаёт предельным «порогом этического».

В этой точке, а вернее, сразу же после неё происходит трансформация и возникают «undeads» — класс живых мертвецов. Снос прежней человеческой оболочки, как в метаморфозе.

«Зомби, подобно „мусульманину“, надолго задержавшийся в серой полосе неразличимости между жизнью и смертью, также осуществляет (со своей стороны — С.Б.) блокировку репрезентации смерти, скрывает то, что мы больше всего боимся в ней увидеть».

*Дмитрий Гольинко-Вольфсон. Век живых мертвецов:
XX столетие глазами зомби*

Раскрепощение-к-смерти... Сдача крепости разума.

«Фактически фашизм — это метафизика раскрепощения, а возможно, и образ раскрепощения метафизики. С точки зрения Хайдеггера,

фашизм был синтезом гуманизма и бестиарности — то есть парадоксальным совпадением сдерживания и раскрепощения».

Питер Слотердаjk. Правила для человеческого зоопарка

«...Я с разбегу бил лбом в эту землю и был счастлив...»

Около двух третей численного состава НСДАП и почти 90% штурмовых отрядов SS составляли рабские. Главный ресурс консервативной революции.

«Хайдеггер умел видеть за тем, что было названо национал-социалистической революцией 1933 года, переворот всего германского бытия... Но, как в России 1917, 1991 годов, так в Германии 1933, 1948 годов на политическую сцену поспешили выйти активисты, взявшие инициативу в свои руки. Они сорвали медленно назревавшее событие, не дав ему развернуться в его истине».

Владимир Бибихин. Сила мысли

Истина же этого развёртывания, вроде, должна была бы состоять в том, что

«Человек, человеческое, человечность, как давным-давно заповедано тем, кто безумной рукой разбросал семена в юнгеровских голодных полях, должны быть преодолены. И фашистская аристократия Гелиополя... лоскут за лоскутом... по живому сдирает с себя Ветхого Адама...

Брахманы и кшатрии, философы-меченосцы...»

Александр Гольдштейн. Комета Гонзаго

Сбросившие на землю отработанные оболочки личинок: нас — «последних людей».

Эрнест Юнгер. «Гелиополь». 1949. Роман, созданный среди смердящих развалин Германии. Проекция не осуществившегося развёртывания «медленно назревавшего события в его истине». Мир «Гелиополя» — это то, что имело некоторые шансы осуществиться в случае удачи операции «Валькирия». Клаус Штауфенберг, активировавший бомбу в штабном бункере Гитлера.

«Швабский род Штауфенбергов впервые упомянут в грамоте 1317 года... Клаус Филипп Мария Шенк граф фон Штауфенберг родился в 1907 году в Йеттингене. Это был высокий (1 м 85 см), очень стройный темноволосый и синеглазый молодой человек, всадник-спортсмен и поклонник Стефана Георге. Стихи Георге, непогрешимого мастера, аристократа и нищезанца с даром предвидения, сопровождали Штауфенберга всю его недолгую жизнь».

Борис Хазанов. Ветер изгнания

«И прямо со страницы альманаха, / от новизны его первостатейной, / сбегали в смерть, ступеньками без страха, / как в погребок за кружкой мозельвейна».

«Фашизм — это рыцарство, аристократическое продолжение старых династических правил...

Двоякодышащее, духовно-чувственное собирание мёда аскезы».

Александр Гольдштейн. Комета Гонзаго

«...человечество так, по большому счёту, до конца не поняло глубоких внутренних противоречий между тоталитарными и фашистскими

формами государственного устройства... Нацисты отлично понимали, что у них гораздо больше общего со сталинским вариантом коммунизма, чем с итальянским фашизмом».

Ханна Арент. Банальность зла

Осуществлённая на несколько месяцев утопия — Республика Риенцо, инициированная Габриэлем д'Аннуцио.

НТС (Народно-трудовой союз российских солидаристов).

Нужно понять, что провал реализации этого проекта привёл с неизбежностью к обществу потребления, к Welfer State. Попутно уничтожив уже инициированную в Германии космическую программу.

«Rainbow gravity», распрямившись, метнула в зенит не боеголовку Фау-2, а лунный модуль.

«Далёкая радуга» Стругацких — планета, сбывшаяся только затем, чтобы быть уничтоженной.

«Об этом как-то не принято говорить вслух, но творец Лунной программы — Вернер фон Браун — штурмбанфюрер СС и военный преступник».

Сергей Переслегин. Вторая мировая война между реальностями

Но его «Фау» — совершенный итог «магической» цивилизации рейха — созданная смертниками в пропахших дерьмом и гниющей человеческой плотью подземельях «Доры» — подарила человечеству Луну.

А Сергей Королёв, доходяга на колымском прииске Мольдяк, узник московской спецтюрьмы НКВД, создатель первой в мире управляемой жидкостной

ракеты с автономной устойчивостью, главный конструктор советского космического проекта (до 1965 года — лидер в гонке между СССР и США на приз луны) в 1966 умирает на операционном столе, поскольку следователи Лубянки Шестаков и Быков ещё в 1939 году раздробили ему обе челюсти в ходе допросов, и хирург не смог ввести в почти не открывающийся рот трубку для подачи наркоза.

Тяжёлый *shopping*, медиа и интернет, полное забвение Бытия во имя торжества виртуальных практик, как альтернатива «мёду аскезы». Всё это сомнительное сооружение, начало размываться на наших глазах.

И итог — это неизбежное для текущей реальности соскальзывание человека к антропологической границе.

В «Субъективных заметках о фотонных звездолётах»

Сергей Переслегин рассматривает результаты альтернативного исхода Второй мировой войны:

«Заметим, что разгром Советского Союза должен был сопровождаться резкой договорной демилитаризацией страны и, следовательно, поворотом от агрессивного сталинского социализма к некоему почти раннехристианскому религиозному коммунизму».

И расцветом автономной Сибири.

Этот вариант — в романе Андрея Лазарчука «Иное небо».

Инициация русского космизма в этом отражении: Иван Ефремов «Туманность Андромеды» — 1957.

Мир «Полдня» Стругацких как рабочая модель этой реальности: 1960–1970 годы.

Монография С. Переслегина «Возвращение к звёздам». М., 2010.

Текущая реальность свернула на другой путь.

«Я видел ад и дьявола, смерть, видел чудовищные вещи. Я стал свидетелем (и усердным участником — С.Б.) разрушительного безумия».

Адольф Эйхман. Из дневника

Возникшая на глазах одного поколения «земля убитых», конструктивно воплощённая в гетто.

По мнению Кристофера Браунинга нацистская концепция гетто была представлена двумя реализованными моделями, существовавшими одновременно, но в разных сочетаниях. Модель гетто-тюрьмы — Варшавское гетто. Перестало существовать в 1943 году в ходе подавления восстания. За Страстную неделю уничтожено около 50 тысяч последних его насельников, ещё не отправленных в Трешлинку и Освенцим.

Гетто — трудовой лагерь — Лодзинское гетто: болезни и хаос там достигли ни с чем не сравнимой степени.

Запуск — 1939–1940 годы.

Голос и вкус уже пришедшей евразийской ночи — окопное небо, забившее носоглотку.

СССР

Большой стиль. Большой террор. Большая жертва. Значимый топос этой России: лимб. Рабочие посёлки на окраинах больших городов. Трудовые гетто. Места смерти чуть дальше — за городом, например: Бутовский полигон. Например: Каштак — за северной окраиной Томска. Пригородные леса и овраги любого полиса СССР.

В 1937–1938 гг. в СССР было произведено 3141444 ареста (ЦА ФСБ, ф. 8, ос. оп. 1, п. 80). Традиционно принятое число за эти же годы: 682 тысячи расстрелов. Новейшие исследования уточняют его: от 725 до 740 тысяч.

Автобус, прежде чем спуститься в город, петляет между охряных вертикалей в чёрных пробойнах стрижиных гнёзд. Глинистые склоны ветвятся оврагами. Весной струи воды режут вниз, в извилистых руслах, и никто не слышит, как сыплются кости из вскрытых паводком расстрельных рвов 1937 года.

В эти рвы ушёл сосланный в Томск русский философ Густав Шпет. Успев закончить перевод «Феноменологии духа».

«Быть под подозрением приравнивается виновности, или имеет такое же значение и такие же последствия, а внешне выраженная реакция

на эту действительность состоит в холодном уничтожении (подозреваемого), у которого нечего отнять кроме лишь самого его бытия».

Гегель, 1807. Шпет, 1937

«Жизнь есть пригород — за городом строй...
Дальше — некуда. Здесь околевать. Маркса
проповедь на стравинский лад».

Марина Цветаева. Поэма конца

Пейзаж городской окраины, переходящий в топос
инферно.

«Некоторые разновидности ада состоят из
заурядных построек, расположением своим на-
поминающих окраинные улицы и переулки».

Эмануил Сведенборг. О небесах, о мире духов и об аде

«До конца я не верил, что, как и все, я тоже. /
После я брёл в колее, в слякоти, по просёлку,
вдоль фанерных бараков. / Изредка возникало
Нечто из камня, заросшее чертополохом. / Гряд-
ки с картошкой, окружённые колючкой. / Здесь
отвыкли от возмущенья и от цветов. / Сухая ге-
рань в консервных банках, запорошённая слоём
пыли из будущего. / Наяривали патефоны, по-
вторяя то, чего не существовало...»

Чеслав Милош. Избранное

Ленинградская блокада (1941–944)

17 июня 1941 года Первая (элитная) танковая ди-
визия РККА была поднята по тревоге, погруже-
на на железнодорожные платформы и двинулась на
север. Через пять суток её выгрузили на станции

Аллакурти в 60 километрах от финской границы и за 1,5 тысячи вёрст от ближайшей точки фронта, начавшейся в тот день войны с Германией. В эти же дни, на фоне разгрома вермахтом Северо-Западной группировки советских войск,

«сотни танков уходят на север, в Гатчину, т.е. в прямо противоположном от линии фронта направлении. А на рассвете 25 июня 1941 года воздушная армада из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей была брошена на Хельсинки».

Марк Солонин. 25 июня. Глупость или агрессия?

В ответ Финляндией была объявлена война, сделавшая топографически возможной блокаду Ленинграда.

«Выход финских войск к Сартавала и Кексгольму прервал железнодорожное сообщение Ленинграда с Большой землёй в обход северного побережья Ладожского озера».

Марк Солонин

А «если бы не было в 1939–1940 гг. „Зимней войны“, то, по всей вероятности, в ходе немецкого наступления осенью 1941 года на Ленинград в тылу его находилась бы нейтральная Финляндия».

Мауно Йокинни

Результат — 150 тысяч солдат РККА, погибших на «Зимней войне», полмиллиона — в операциях, связанных с обороной Ленинграда, и около 1 миллиона смертей только гражданского населения в самом городе.

Свидетель, членкор Академии художеств, воевавший в ленинградском ополчении, описывает «геологический разрез 1941–1942 гг.»:

«У самой земли лежали убитые в летнем обмундировании, в гимнастёрках и ботинках. Над ними рядами громоздились морские пехотинцы в бушлатах и широких чёрных брюках. Выше — сибиряки в полушубках и валенках, ещё выше — политбойцы (зэки? — С.Б.) в ватниках и тряпичных шапках, на них — тела в шинелях и маскхалатах».

Николай Никулин. Воспоминания

Тем не менее блокада была искусственной конструкцией. Средства доставки продовольствия населению города и пространственный коридор — существовали. Кольцо блокады не было замкнуто.

Фундаментальным аргументом, подтверждающим это, является динамика снабжения города. В осеннюю навигацию 1941 года: 45 тысяч тонн продовольствия. А в навигацию 1942 года (20 мая 1942–8 января 1943 года) — в «блокированный» город тем же путём было доставлено уже 400 тысяч тонн. На порядок больше. Только было поздно. Вместе с данными о подготовке Большого взрыва Ленинграда силами НКВД и военных (около 50 тысяч заминированных объектов), намеченного на зиму 1941–1942 годов, который похоронил бы под обломками большую часть мёртвых и тех условно живых, рассматриваемых военным и партийным начальством как балласт, — становятся понятными внутренние скрепы этого устройства:

«Блокада была реальностью другого порядка. Там внутри ада был ещё какой-то ад. Или даже несколько. Что-то такое, чего психика бывших там людей не воспринимала. А в чьей случайно отразилось, тот сразу же забыл. Или погиб. Из

бывших же там (не нахожу слова — ну, возьмём термин условный: допустим, дьяволов) ни один не проговорился».

*Из рецензии С. Гедройца на книгу Андрея Тургенева
«Спать и верить: блокадный роман»*

Несколько лет назад дочь писателя Геннадия Гора нашла на чердаке своего дачного дома тетрадку с блокадными стихами отца. Тексты пролежали там больше полувека.

Тридцативосьмилетний ленинградский писатель находит в себе силы поэтически обработать свой тогдашний опыт:

«Я девушку съел, хохотунью Ревекку, /
и ворон глядел на обед мой ужасный. / И ворон
глядел на меня, как на суку, / Как медленно ел
человек человека. / И ворон глядел, но напрасно,
/ не бросил ему я Ревеккину руку».

Геннадий Гор. Стихи 1942 года. Блокада

Согласно данным отделов регистрации граждан, в городе Ленинграде и административно подчинённом ему регионе на октябрь 1941 года проживало 2915169 человек. В этом же месяце было выдано продуктовых карточек — 2371300.

Разница в 600 тысяч человек — это те, кто бежал в город из сопредельных областей и, естественно, не имел ни городской прописки, дававшей право на получение продуктовых карточек, ни каких-либо запасов еды.

А «с первого января по двадцатое ровно ничего не выдавали. Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были

усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Дворники к утру выметали их, словно мусор. Больницы были забиты тысячными горами умерших, синих, тощих, страшных... Мы знали, что гибель от голода запертых в ящик пяти миллионов людей не ослабит героизма наших сытых главарей. Здесь действовал обычный закон истаптыванья человека. Он именовался отвагой, геройством осаждённых, добровольно-де отдававших жизнь отчизне».

О. Фрейденберг. Письмо Борису Пастернаку

«С питанием теперь особой нужды не чувствую. Утром завтрак: макароны или лапша, или каша с маслом и два стакана сладкого чая. Днём обед: первое — щи или суп, второе — мясное каждый день. Вчера, например, я скушал на первое зелёные щи со сметаной, второе — котлету с вермишелью, а сегодня на первое щи с вермишелью, на второе свинина с квашеной капустой. Качество обедов в столовой Смольного значительно лучше, чем в столовых, в которых мне приходилось в период безделья и ожидания обедать. 9 декабря 1941 года».

Блокадный дневник ленинградского профсоюзного функционера Н.А. Рибковского

В Ленинградском архиве

«мы читали документы с грифами „секретно“ и „совершенно секретно“: протоколы отделений милиции о случаях каннибализма и — накладные на продукты, доставляемые в Смольный: шпроты, крабы, икра зернистая, икра лососевая, осетрина горячего копчения».

Александр Чудаков. Ложится мгла на старые ступени

В первую декаду февраля 1942 года умерло 36606 человек, во вторую — 34852.

Точка невозврата была перейдена к началу 1942. Именно тогда, по воспоминаниям выживших, в один из январских дней полчища крыс покинули город. Несколько часов они «текли» по улицам плотной, седой от холода массой, а потом исчезли. Впрочем, беременные самки зверьков поселялись в промёрзших тупах горожан, выедавая их изнутри.

Количество арестованных за людоедство лавинообразно растёт. За первую декаду февраля — 311, на 13 марта — 1171, к 14 апреля их уже 1557, на 3 мая — 1739, на 2 июня — 1965 человек. Это из оперативных сводок НКВД, и абсолютно ясно, что это только «вершина айсберга». С начала 1942 года людоедство в Ленинграде становится бытом, и мороженая человечина попадает внутрь «пищевых цепочек обмена».

Цифры по: Н. Ломагин. В тисках голода. Блокада Ленинграда в документах германских спецслужб и НКВД. Спб, 2000. Тираж 300 экз.

Тогда же на чёрном рынке появляется «земля из-под Бадаевских складов» — спекшиеся коричневые комья, пропитанные жжёным сахаром.

«Хаос, нетварная бездна или что-то ещё хуже — перед тобой, а не где-то...

Ольга Михайловна Фрейденберг говорила нам в 1945 году, что отперла ванную, запертую на блокадные годы, и увидела эту самую бездну Тиамат. Мы это запомнили на всю жизнь».

Наталья Трауберг

В городе, похожем на сосуд Дьюара с дымящимся над горловиной жидким азотом, где десятки тысяч человеческих существ непрерывно и безвоз-

вратно скользили по ледяному склону на ту сторону мира, не могли не оказаться сотни тех, кто всё же находил дорогу обратно; и промёрзшие склепы домов в какой-то момент стали заселяться ими, *undeads*, — застрявшими между Мирами.

Этой зимой рядовой похоронной команды впервые услышит их голоса:

«шуршанье миллионов жизней, кишевших
меж волокон тьмы»

(Даниил Андреев. Ленинградский апокалипсис)

и вой Уицраора, перемалывающего души и тела горожан.

Лидия Гинзбург, волею судеб оказавшаяся в блокадном Ленинграде, в своих записях, отступая к последней границе, попыталась рационализировать происходящее. Она находит странный ответ на экспансию «враждебного мира, эмансипирующегося от всех сдерживающих факторов», на «откровенно действующее социальное зло»: «аскетическая гражданственность». Вроде как римское чувство жизни в новых условиях.

Где здесь самоцензура, а где голодный бред, настоенный на доморощенном гегельянстве, — теперь уже не разобрать. Только потом она все же проговаривается:

«Происходили вещи самые страшные из всех когда-либо происходивших... но они были целиком выключены из печатного поля сознания».

Вот как могло выглядеть то, что было выключено из «печатного поля сознания»:

«На одном из островков снега Ахмет замечает сравнительно свежий отпечаток берца, большая часть каблука и ещё немного подошвы.

Следы говорят — обратно человек не проходил; и Ахмет сворачивает на шестом, соблазнившись перспективой переобуться. Человек бросается навстречу сразу, стоило Ахмету свернуть в уходящий вдаль стометровый коридор. Правая сторона хорошенько почищена — одни сухожилия да смёрзшиеся обрывки одежды, чисто выеденные полости забиты снегом и мусором. На левой сохранилось довольно целое мясо, прикрытое почти неразорванной одеждой... Значит, забился куда-то в щель, и его доедали не вытаскивая, — заключает Ахмет, проходя сквозь человека. Начинается поиск, Ахмет челноком идёт по коридору, засовывая голову в каждую палату. Человек обнаруживается в автоклавной.

На самом деле он забился между тяжёлым лабораторным боксом и кафельной стеной. Всё, что торчит, — начисто объедено. Стены, и особенно металл, охотно рассказывают, как было дело, хотя и без того всё понятно: внезапно вышли на нашу сторону, размазали одинокого человека видом и неожиданностью атаки, хапнули его силы и выпнули на ту сторону. На той стороне пригнали обратно на нашу — человек выскочил на лестницу и был загнан сюда, в автоклавную, где из него вытащили уже всё. Воплотившись на халявной силе, какое-то время рвали труп, пока не провалились обратно. Дочищали уже птицы, всякие, от ворон до синиц.

Ахмет ставит ружьё к стене и присаживается на пододвинутый бюкс, внимательно изучает труп, пытаясь определить, не участвовал ли кто-нибудь ещё в этой трапезе. Вроде нет.

Одна нога отламывается легко, замороженные коленные хрящи звонко лопаются, и в руках Ахмета оказывается правый берц с торчащей из него грязной костью голени. Прислонив добы-

чу рядом с ружьём, Ахмет долго бродит по отделению, пока не находит искомое — почти не заржавленный скальпель в стаканчике с карандашами на сестринском посту.

Вторая нога отделяется труднее. Протискиваясь в щель, человек подогнул её под себя, и едоки то ли не смогли, то ли поленились изгибаться, выгрызать неудобные места. Промороженный металл скальпеля не выдерживает нагрузки и ломается с нежным звоном; но штанина, мягкие ткани и сухожилия худо-бедно прорезаны. Осталась кость. Напрасно поискав глазами какую-нибудь подходящую подставку, Ахмет, недовольно морщась, пинает дверь и выходит в коридор: в столе на посту оставались ящики, один из них вполне согдится. Тут же в дверях, нос к носу сталкивается с безумной тенью бывшего хозяина тела, ошарашенно наблюдающего за разделкой себя любимого. Тень ещё крепка и свежа, и если б не прозрачность, то вполне сошла бы за свой труп. Отпрянув к стене пыльным струящимся облаком, тень пропускает странного живого и снова внимательно всматривается в своё обезноженное тело».

Беркем аль Атоми. Каратель

«На фотографиях апреля 1945 года запечатлены горы трупов, обнаруженных ошеломлёнными английскими солдатами при освобождении лагеря Берген-Бельзен.

Брошенный немецкими властями на произвол судьбы в марте 1944 года, этот концентрационный лагерь для тех евреев, которых по тем или иным причинам не собирались уничтожить, даёт такую картину «естественной» смертности: с января до середины апреля 1945 года года умирает около 35 тысяч заключённых.

Среди них — девочка по имени Анна Франк».

Век лагерей

Э то, в среднем, 3500 человек за декаду. В десять раз меньше, чем за аналогичный срок в Ленинграде 1942–1943 годов.

По уровню смертности (и количеству умерших за 1942–1943 годы) Ленинград не может быть сравним ни с одним из нацистских или советских концлагерей, но с любой из зондеркоманд SS. А по общему количеству жертв — только с Освенцимом–Биркенау.

Битая в «Большом доме» до потери там нерождённого ребёнка, а до этого пережившая расстрел мужа Ольга Берггольц поэтически бредит Сталиным, называя его в одном из стихов «нашим старым блокадником». А в поэме Н. Тихонова Киров по-хозяйски шагает по мёртвому городу.

Так сказать, вурдалаки на обходе.

Инициация этого «бреда», возвращение к глубинной архетипической «советскости» почти как к истине в последней инстанции происходит сегодня внутри «новой отечественной социальности» — литературы, обратившейся к теме «Блокады».

Повесть «Ленинград» Вишневецкого. (Премия НОС. 2012).

«Не только убийственно мрачный постскрипtum к русскому Серебряному веку, к общесимволистскому «Петербургу»; это удивительная историософская вещь о том, как — метафорически выражаясь — отгоревшие угольки большого дореволюционного культурного карнавала, оказавшись в страшной ледяной печи

блокады, выходят оттуда советскими алмазами... уцелевший герой этой книги становится в итоге не попутчиком, а именно советским человеком. Петербург превращается в Ленинград».

Кирилл Кобрин. Аннотация к повести

О «советских алмазах».

В конце 1980-х годов прочёл щедро документированную фотографиями статью о деятельности кондитерского цеха в блокадном Ленинграде. Естественно, находился он в подвале Смольного. Наверное, недалеко от тренажёрного зала, где Жданов сбрасывал избыточный вес.

«Оба вдруг замолчали, потому что почувствовали неожиданно, что земля уходит из-под ног и стремится куда-то далеко и неодолимо, и сам ход времени отдался гулко и протяжно, как безначальный звук лопнувшего в небывшие времена рельса, и будто пронизывающим ледяным ветром потянуло сквозь них, прозрачных, и сквозь мир, и сквозь вековечные скалы, такие крошечные и такие хрупкие, потянуло то ли из прошлого в будущее — и тогда непонятно было, почему же ветер настолько стерилен, и нет в нём запахов пожаров и хлеба, то ли из будущего в прошлое — но почему он холоден, как в бесснежную злую зиму, и тосклив, и ровен, будто бы там, в будущем, не за что зацепиться и не на чем задержаться и остаётся только лететь, лететь призрачно, зло, ледяно и свободно? Будто бы нечего ждать и не на что надеяться...»

Андрей Лазарчук. Опоздавшие к лету

О советских окраинах, и «шанхаях» — смотри, например, тексты Асара Эппеля: сборник «Травяные

улицы». Из новейших — рассказ сетевого автора Беркема аль Атоми «Ихтиандр».

Та же «музыка» на Западе, но ещё под сурдинку, звучит в написанном в начале двадцатого века «Големе» Густава Майринка и некоторых текстах Исаака Зингера.

Но впервые по-настоящему «въехал» в эти дела Франц Кафка. Он — уникальный случай ясновидения. За четверть века до Шоа почувствовал и описал происходящее на его глазах так, что читатель ощущает и сегодня этот ветер, «дующий из низших областей смерти». Возможно, он видел (и записал) сны «оттуда».

Его «повествования глубочайше укоренены в страшной катастрофе и поэтому — скрыты».

Морис Бланшо. От Кафки к Кафке

«Я хочу сказать, что эта реальность фактически больше не может быть воспринята индивидом».

Драган Куёнжич. Воспаление языка

«Мы не умираем, это правда, но поэтому мы и не живём, мы мертвы, поскольку мы живы, в сущности, мы уцелевшие».

Морис Бланшо

Собственно, советское гетто — место высокой концентрации людей, собранных по социальному, профессиональному или этническому тождеству в ландшафтной складке. Они роют землянки, истачивая её склоны. Входя в эти жилища, они попутно входят в состав почвы. Усваивая физиологию и этику перегноя. И здесь тоже есть своё «дно»,

и свои элитные помещения. В лагерях русского Севера жилища учёных и инженеров (геологов, топографов, специалистов по мерзлоте) так и называли: «Ум-нора». Иногда насельники этих нор намертво срастались с ними. Так, внучатый племянник знаменитого русского этнографа Миклухо-Маклая, геолог, заключённый Ухтпечлага, отказывался после истечения срока покинуть место проживания и был насильно вывезен другом за пределы территории лагеря.

(«Гулаговские тайны освоения Севера». М. 2001)

«...И в землянке, всеядный и деятельный, /
океан без окна — вещество».

Осип Мандельштам. Стихи о неизвестном солдате. 1937

В 1942 году 1,5 тысячи рабочих Новосибирска жили в землянках, и их жилищные условия были значительно хуже, чем у заключённых Сиблага. Из-за невыносимых условий многие рабочие ночевали в цехах завода. 17 октября 1941 года бюро Новосибирского обкома приняло постановление о приспособлении под жильё сараев, чердаков, подвалов и о строительстве землянок на косогорах окраин города и обрывистых берегах рек Каменка и Ельцовка. А средняя зимняя температура в следующие месяцы была около минус 40 градусов.

Рабочие Красноуфимского медеплавильного завода на Южном Урале работали по 14–16 часов с выходным раз в две недели. При этом в столовой завода было всего несколько десятков мисок и ложек. Смертность была такой высокой, что в конце 1944 года на завод, на смену умершим, были присланы заключённые НКВД, после чего он превратился в подобие концентрационного лагеря.

«Мы останемся грязью, плевком в тени, / за скамейкой, где угол пробиться лучу не даст. / И слежимся там, не считая дни, / в перегной, в осадок, в культурный пласт».

Иосиф Бродский

Часто ни проволока, ни стена, огораживающая территорию, просто не были нужны. Происходил естественный осмос людских молекул из «девятого круга» раскулаченной деревни в «восьмой» — ударных строек первой пятилетки. Барак под снегом для сотен тысяч был единственной альтернативой ужасам голодной смерти. Сама же деревенская жизнь уже с начала двадцатых (правда, с некоторым перерывом в их середине) выглядела, например, так:

«За кус говядины с печёнкой сосед освежил мальчонку / и серой солью посолил / вдоль птичьих рёбрышек и жил. / Старуха же с бревна под балкой / замыла кровушку мочалкой. / Опосля, как лиса в капкане, / излилась лаем на чулане, / и страшен был старуший лай».

Николай Клюев. Погорельщина

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем... с самой бешеной и беспощадной энергией... обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей».

Ульянов (Ленин). Письмо 19 марта 1922 года

Одно из первых детских воспоминаний писателя Павла Улитина (1918–1986). Его мать напевает колыбельную, склонившись над телом отца, суровыми нитками пришивая его отрубленную («бандитам») голову. 1921 год, юг России.

Окраина Новосибирска, где я жил в детстве (50-е годы XX века) — рабочий посёлок в долине речки Ельцовки, текущей с востока на запад внутри северной части города и впадающей в Обь. Человеческое гнездовье, относительно компактное в 1930 годы и непомерно разросшееся с притоком эвакуированных рабочих во время войны.

Овраг около 6 километров в длину, одного в ширину. Хаотичные террасы из чёрных, сколоченных из ворованных досок деревянных лачуг, спускающихся к серой, быстро текущей воде.

Строений не из дерева так мало, что единственный кирпичный магазин рядом с оврагом местное население так и называет — «Каменный».

Огромный (с десятков метров в диаметре) бетонный коллектор на краю одной из кривых улочек, почему-то открытый сверху, так, что можно заглянуть даже ребёнку. В нём на дне бурлящая кровавая пена — стоки боен Новосибирского мясокомбината. Прозрачный столб ужаса, прущий отсюда.

Сам комбинат похож на средневековый замок из тёмно-красного кирпича, на воротах которого четыре по-римски чётких медальных профиля вождей и основателей

А в центре города солнце, бьющее сверху в цветочные часы на главной площади. Большой гранитный фонтан. Струи воды, падающие в незамутнённую лазурь. Маленькая радуга, косо висящая в почти жидком горячем воздухе.

Лоток, от которого чистый запах нагретого солнцем полотна. Книжки на нём... Даниил Данин «Неизбежность странного мира». Завораживающая фамилия и огромное неземное светило на обложке: Воронцов-Вельяминов «Очерки о вселенной».

Северная Азия. Новосибирск, 1959...

Сейчас вода бежит внутри бетонной трубы, овраг замывает песком, а сверху — разноцветные многоэтажные железобетонные дома, плотно прижатые друг к другу.

Чеславу Милошу потребовался только шаг от письменного стола, чтобы оказаться на окраине «той стороны мира». Там он видит бараки и «нечто из камня, окружённое чертополохом, грядки с картошкой, огороженные колючкой».

Там же, на северной окраине Новосибирска, прижимаясь к сосновому лесу, существовал «Деловой двор». Четырёхугольник барачков, перегородки, не достигающие до потолка. Внутри — окончившие срок ссылки немцы Поволжья. Оттуда родители взяли для меня нянечку. Снаружи, по периметру построек, маленькие картофельные грядки, защищённые вырожденной до полуметровой высоты ржавой колючей проволокой. Теперь там хрущёвские пятиэтажки из серого кирпича, дома нового поколения, зоосад.

Как-то, мне было лет шесть, во двор зашёл невероятно оборванный и худой человек и стал разговаривать с отцом. Прожил у нас несколько дней. Было, судя по моей внутренней хронологии, лето 1954 года. Потом, спустя годы, я узнал, что это был знаменитый физик профессор Юрий Борисович Румер, возвращающийся из лагеря.

Часто лагерное клеймо оставалось на человеке до конца жизни.

Поэт и известный античник Александр Егунов, устроившийся в ИРЛИ (Пушкинский дом) после реабилитации

«производил впечатление каторжника. Он был плохо одет, смотрелся, как нищий обтрепанный старик... Он ходил, вжав голову

в плечи — это был род бега... (так, наверное, ходил под конвоем, боясь, что его могут ударить по голове)».

*Массимо Маурицио. «Беспредметная юность» А. Езунова:
текст и контекст*

А вот портрет Анны Александровны Барковой, сделанный её сокамерницей в начале 1970-х:

«Лицо и фигура Барковой были поистине ужасны. Маленький и щуплый безгрудый карлик с большим мучнистым лицом. Под обезьяньими надбровными дугами поблескивали маленькие злые глазки. Грубая тяжёлая челюсть, окружённая глубокими, тоже обезьяньими морщинами».

Ольга Ивинская. В плену времени

А вне зоны — придурь. Глубоко эшелонированное юродство. Как эффективная защита от «тесноты и замкнутости глухонемого времени».

Андрей Платонов, Алексей Лосев, Михаил Пришвин.

Горький, плачущий от радости(!) на Беломорканале, с восторженным придыханием (о тамошних чекистах): «Черти драповые!»(!) См. его текст: «О точке и кочке» из ПСС. Вторящий ему Маяковский: «Работа адская будет сделана и делается уже».

Там же, рядом со штабелями леса, «тронувшийся» Философ, проковыривающий дырку для побега не куда-нибудь, а в гилетическое число.

«Профессор этот явно безумен, очевидно, малограмотен, и если даже слова его кто-нибудь почувствует как удар, — это удар не только сумасшедшего, но и слепого».

М. Горький. О борьбе с природой

Профессор-зэк, к этому времени уже почти ослепший, отвечает в такт:

«...Лжеумствующим же, что имя отделимо от сущности и не есть сама сущность... — таковым ономатомахам... трижды анафема да будет!»

Аза Тахо-Годи. Лосев

Очень интересно ощущение полной и твёрдой авторской уверенности в благополучном исходе — в интонации этой фразы. Как у пилота, точно знающего, что его глиссада при заходе на аэродром прилёта безупречна. Слово он уже тогда знал, что проживёт почти столетие.

В написанном в юности «Скрябине» он вглядывается в эйдос «бездны», совершенно лишённый запаха, цвета и местной специфики: его восприятие этих дел опирается, похоже, на гимназические чтения эврипидовских «Вакханок» и топографические медитации над формой груди одной из великих княгинь, без улыбки глядящей на него с дагерротипа. Здесь умственна (интеллигибельна) — каково словечко! — даже «бытийственная гущь», и всё происходит только внутри головы. Он ещё не знает, что «прибрежьями закатного бога» для него станут Соловки. Это «мозолисту (намозоленному от интеллектуальных усилий) телу» головного мозга «хочется ломать и бить, убивать и самому быть растерзанным...» Это всё — нервы. Но — время другое. И он не в Верхнем Энгадине.

И вот чекисты приходят в особняк на Воздвиженке и забирают библиотеку и её владельца.

А «эйдос» снега (уютную философскую кюветку внутри головы) — заносит просто снегом. И призывы милости к «падшим», и «подаренный тулупчик» вот-вот обернутся обычной зэкской смертью. Это не ссылка. Все — серьёзнее. И «светят» ему не сияющие

голубые песцы в енисейской ночи, а подкрадывается дышащий в затылок реальный русский п...ц.

«И когда я околею на своём сторожевом посту, на морозе и холоде под забором своих дровяных складов, и придёт насильно пригнанная шпана (другой никто не идёт) поднять с материщиной мой труп, чтобы сбросить его в случайную яму... И вот нет ни родины, ни родных, ни неба, ни сладости бытия!..»

А.Ф. Лосев. Стрась к диалектике. М. 1990

Наверное, тогда, устало и безнадёжно пятясь от «калитки в ничто», он и начинает грезить о *Abgeschiedenheit* — «совершенном видении» — отрешённости старых немецких мистиков. И «искать тишину внутренних безмолвных созерцаний». Но почему-то не выйдет с отрешённостью, и тогда он, похоже, не придуриваясь, начнёт лепетать совсем странное:

«У кого есть Родина, тот,.. умирая в ней,.. умирает всегда уютно,.. засыпая в мягкой и тёплой постельке».

Краевед из Магадана, посетивший в 1989 году остатки лагеря Бутугычаг («Долина смерти» в переводе с якутского) находит там штольни, забытые мумифицированными телами в лохмотьях истлевшей одежды. А среди ярких полярных цветов — десятки черепов с поперечным распилом над лобными долями, растащенные местной живностью по всей долине, ещё —

«мешки с женскими волосами. Большие, полные, почти в мой рост».

Сергей Мельникофф. Краски ГУЛага

Его рассказ сопровождается цветными снимками с места событий.

«Качалась на воде коряга, / светило солнце
с высоты. / У белых гор Бутугычага / цвели по-
лярные цветы».

Анатолий Жигулин

Там добывали урановую руду, и существовал закры-
тый медицинский объект, на который, получа-
ется, привозили заключённых с разной степенью
лучевого поражения. Их, доходяг, расстреливали,
а потом немедленно (в первые несколько минут
после смерти) извлекали мозг для анатомического
исследования. Характер распила свидетельствует
о высокой технологичности исполнения. Приме-
нялась, видимо, стационарная электрическая высо-
кооборотная циркулярная пила. И, следовательно,
был конвейер, обеспечивающий высокую скорость
подачи «материала» к операционному столу.

«А гуси плыли синим миром, / скрываясь
в небе за горой. / И улыбались конвоиры, / дымя
зелёною махрой».

Анатолий Жигулин

«Замарав совок, археолог разинет пасть, / от-
рыгнуть, но его открытие прогремит / на весь
мир, как зарытая в землю страсть, / как обратная
версия пирамид».

Иосиф Бродский

«...Будучи принципиально лояльным, я по-
этому не считаю возможным для себя идти
в обход общим директивам власти... сочту себя
вправе... содействовать (изданию архивов
В. Розанова во Франции — С.Б.), лишь когда
увиджу, что такое... не стоит в противоречии с об-
щим курсом советской политики».

А эта «дерюга» — текст тончайшего стилиста, автора «Столпа и утверждения истины» о Павла Флоренского. Написано в 1929 году.

Он потом ещё попытается «пустить корни» в соловецкий грунт, будет исследовать его на предмет электропроводности мерзлоты и публиковать в лагерных брошюрках, с логотипом чекистской будёновки на обложке, результаты исследований.

Брежило, брежило что-то насчёт предстоящего «воскрешения отцов», надёжно, до «Дня X», упакованных в ледяную землю. Пока ещё мёртвых, но уже нетленных. А ещё, наверное, думалось: «Я должен жить, дыша и большевея...», но тогда (немного удивляясь его живучести) вдумчивые ученики философа Николая Фёдорова отвезут его под Ленинград и там прикончат.

Почти об этом же «Эфирный тракт» Андрея Платонова — утопия, в которой под растопленной большевиками арктической мерзлотой оказывается древняя магическая цивилизация, владеющая тайной бессмертия.

Может быть — смерти?

«Я должен жить, дыша и большевея, / любить людей, работая сам-друг. / Я слышу в Арктике машин советских стук. / Я помню всё — немецких братьев шеи, / и что лиловым гребнем Лорелеи / садовник и палач наполнил свой досуг».

Осип Мандельштам

Ослепительно белые совершенно беззвучные птицы, с круглыми глазами, «полными ненависти ко всему живому», пикирующие на продуктовый склад ликвидированного лагпункта «Рыбачий» на севере

Таймыра. Сука-зима (минус 50 – при скорости ветра 30 метров в секунду), непрерывно щенящаяся мёртвой человечинной. *Условно живые*, в палатках, отапливаемых лигнитом – слабо разложившимися древесными остатками, цементированными земляным углём. Кусок антрацита как премиальная добавка в особенно лютые морозы и пургу. Семь штолен, уходящих под уклон внутрь приземистой горы.

Лагерь возник в 1947 году. Спустя несколько лет государственная приёмная комиссия забрала всю добытую там руду из-за слишком низкого процента урана, содержащегося в ней. Бочки с концентратом вывезли в Ледовитый океан и затопили. Остались просевшие могильные рвы и склады с тысячами тонн оборудования и пищевых продуктов, никому не нужные и просуществовавшие до конца 1970-х годов, когда геолог (автор статьи) случайно наткнулся на них. Он пишет о полярных зайцах, плодящихся внутри коридоров, образованных длинными, «на сотни метров», штабелями из мешков с мукой, крупами, горохом, сахаром, ящичков с проржавевшими банками сгущёнки и рыбных консервов.

«Создание размером с хорошего ездового пса, сплошь покрытое серой лоснящейся шерстью... Зверь едва ковылял на коротких и толстых кривых лапах и явно страдал одышкой... Они жили прямо посреди мешков с мукой и крупой, питаясь их содержимым. Здесь же, возле этих мешков, они, видимо, спаривались и рожали себе подобных... Волки же, их главные враги, не могли побороть страх и отвращение ко всему, что связано с человеком, и внутрь продуктового города-склада проникнуть даже и не пытались».

Евгений Вишневецкий. Рыбачье счастье полярных зайцев

«То звёзды надо мной, то солнца красный
мяч, / и жизнь моя, как остров, коротка. / Мы
встретимся с тобой на острове Вайгач, / где ви-
ден материк издалека».

Александр Городницкий. Остров Вайгач

То есть, всё-таки был построен «полный изм» в одной точке на северной оконечности этого материка (откуда виден остров Вайгач) для отдельно взятой популяции местных четвероногих.

А в 1947 году, когда «Контора» стала завозить туда продукты, в СССР разразился очередной голодный мор, унесший жизни более полутора миллионов человек. А около ста миллионов просто голодали. При этом экспорт зерна из страны в 1946–1947 гг. достиг 5,7 миллионов тонн.

Платонов со своим Перри, и Пришвин — с Зуйком.
(«Осударева дорога»).

Безвольно, обморочно закатывая глаза, «подстелиться» под палача.

Копенкин в «Чевенгуре». Явно симпатичный автору экзистенциально озабоченный начальник расстрельной команды чекист Пиюся.

Онтология смерти на местном материале, интимно прочувствованная Андреем Платоновым, как уже почти добровольное сползание из камеры в ров — из Бытия в Ничто.

Странная замороженность процессом ручного копания. Строительный котлован, как могила живых.

«За могилы, за насыпи, осыпи, / по которым
он медлил и мглил — / развороченный, пасмур-
ный, оспенный / и приниженный гений могил».

Осип Мандельштам

У писателя Зазубрина, реального свидетеля этих дел (увязывался с чекистами посмотреть) — о зимних массовых расстрелах под Новосибирском в 1920 году:

«Чтобы ускорить, вывел больше половины за город. Сразу всех раздели, поставили на краю канавы-могилы. Я просто залюбовался, когда освещённая луной длинная шеренга голых людей застыла в совершенном безмолвии и спокойствии, как ряд алебастровых статуй».

«Совершенное видение», «Совершенное безмолвие...»

«Скромный сотрудник омского горстройтреста Андрушкевич в 1929 году получил строгий выговор с предупреждением за „невыдержанность“ в связи с тем, что во время партийной чистки заявил: „Когда я работал в ГПУ, привели ко мне белого полковника, так я ему зубами прогрыз горло и сосал из него кровь“».

А.Г. Тепляков. Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930 годах. М., 2007

«Мученики догмата — вы тоже жертвы века».

Идущая от Достоевского через позднего Льва Толстого традиция считать палача и убийцу жертвой — более чем саму жертву:

«Есть высокое что-то в оправдании зла —
Свет слепящий кивота, чудодейная мгла
И чуть видные в Тверди берега божества —
Позывные ли смерти, чувство ль с Небом родства?»

Моисей Цетлин

«И палач, и жертва немного, но иногда —
и совершенно — „не от мира сего“».

Словно прошли курс какой-то особой теологии.

В овладение которой входит причудливое микширование «Неба» и «Смерти». Так сказать, творческий псевдоморфоз. Те, кто «от мира», — в лагерях.

Но смертность во многих лагерях ГУЛАГа значительно меньше, чем на воле. Вспомним Голодомор, например. Цифры разнятся. Но около шести миллионов крестьян ушли во рвы только в Украине в течение года.

«...около мельниц и элеваторов, где рабочие употребляли в пищу зерно, голодные дети собирали человеческий кал, извлекали из него зёрна и употребляли их в пищу».

*Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов.
Трагедия российской деревни. М., 2008*

Между 1932 и 1934 годом на Украине умерли два с половиной миллиона истощённых новорожденных.

А вот очевидец описывает колхозные будни весны 1933 года:

«Жаркий майский полдень. Полольщицы бредут по чёрным бороздам между рядами ярко зелёных молодых листов... некоторые уже только ползут на четвереньках. Тускло-тёмные узлы среди свежей весёлой зелени. Одна оставилась. Не то прилегла, не то присела. Через час кто-то заметил: „Тётка Одарка, сдаётся, померла“... Тело с трудом тащат на растянутых платках. Такие же грязно-серые...»

Лев Копелев. И сотворил себе кумифа

«Трупным покоем города Киева за 1933 год всего принято подобранных по городу трупов 9472».

ЦГАНХ, ф. 152. оп. 329. ед. хр. 132

«В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подошлы юбок керосином, зажигали, а потом тушили: „Скажешь, где яма? Опять подожду“».

М. Шолохов. Письмо Сталину

«Общее повышение смертности, начавшееся в 1929 году, в 1933 превратилось в резкий взрывоподобный рост, который продолжался до лета 1934 года. Избыточное число смертей за это время по СССР может быть оценено, как 7,9 млн человек».

А. Вишневецкий. Демографическая динамика Советского Союза в 30-х годах

По воспоминаниям Галины Улановской в воркутинском лагере 1950 года многие заключённые сушили сухари, чтобы отправить посылки родственникам в деревню. Голод 1947 года (около полутора миллионов жертв) продолжался вплоть до конца 1950-х годов с отдельными рецидивами и в 1960-е годы. В начале которых тем, кто стал клиентом спецраспределителей, расширившихся до границ закрытых научных городков, стало казаться, что прекрасный новый мир уже построен...

Укоренённости русского крестьянства в его почве, в ходе коллективизации была противопоставлена идея и практика выкорчёвки. В энциклопедическом словаре Павленкова, изданном в начале XX века, слово «чёрт» — механическое устройство (ручная лебёдка) для выкорчёвывания сопротивляющихся распашке пней. Оставшихся после вырубки леса.

Тех, кого «вырубали» из Среднеевропейской равнины, отправляя в низовья Оби и Енисея, сосчитать невозможно. В частности, потому, что большинство из них не имели никаких документов. Парадоксально, но именно за это и отправлялись в небытие.

Иногда выкорчеванные, сохраняя внешний контур (русскость) и случайно выжив, становились оборотнями. Особенно если, возвращаясь, попадали внутрь Большой войны.

«Блистательные цивилизационные оборотни».

В. Цимбурский. Новый возраст России

«В Дубровлаг в начале шестидесятого привезён первосрочник по фамилии Жуков, двадцатипятилетний по 58-1-6 („измена родине в военное время, переход на сторону врага“).

Если бы я умел, то изготовил бы его портрет, и он оказался бы сродни Платону Каратаеву, солдату Благодареву из «Августа 14-го», в чём-то и – Ивану Денисовичу, дворнику Спиридону из «Первого круга» («Волк не прав, волкодав прав») или тургеневскому Герасиму. Что-то неопишимо русское... Жил ожиданием писем от своих, без конца читал их и перечитывал. Мучительно писал ответы, тратя по часу на ученическую страничку...»

Он попросил автора текста написать жалобу на несправедливый приговор, протянув его копию:

«Были опрошены свидетели, зачитаны архивные документы. Жуков признал себя частично виновным. Судом установлено, что Жуков (менее 20 лет от роду) добровольно в 1942 году пошёл работать в отряд № такой-то, полиции такой-то, комендатуры такого-то района. С такими-то ворвался в избу такого-то жителя, вывел из погреба спрятавшуюся там семью Вейнтруба Соломона Яковлевича в составе (далее список из семи человек, заканчивающийся перечислением детей, последний – совсем маленький) и во

дворе при свидетелях автоматными очередями всех расстрелял».

И ещё подобных эпизодов довольно тесно во времени. Автор спрашивает Жукова:

«Может, на тебя ГБ наволокло?» «Нет, — отвечает, — тут всё как было».

*Никита Кривошеин. «Долг памяти»
или «Смотри, жидёнка приморили»*

Вроде, технологичные и «продвинутые» в этих делах нацисты, запустив машину уничтожения евреев на полную мощность, да ещё в условиях тотальной войны, с ранней осени 1941 года, преуспели к концу 1942 года только наполовину, по сравнению с технологами Голода в СССР начала 1930-х годов, уничтожив 2454000 евреев.

*Цифры из отчёта руководителя статистической службы SS
Рихарда Корхера*

Вольное (!) русское пространство как место смерти — в «Проклятых и убитых» Астафьева.

Там описание воинской «учебки» под Бердском. Рядом с огромным «узлом» искитимских гулаговских лагерей.

Ночевал там в начале мая в палатке в 1966 году. Ничего не осталось от тех «вольных» лагерей. Всё заросло лесом. В одной из деревень, описанной Астафьевым, купил в сельпо томик Пастернака. (Большая удача по тем временам).

Мэтр тоже, юродствуя, сопрягал «славные дела» с «казнями».

«Итак, вперёд, не трепещи / и утешаясь параллелью, / пока ты жив, и не моща, / и о тебе не пожалели».

Им так хотелось

«труда... (И не просто вкалывать, а, обязательно) — заодно с правопорядком».

Но вот реальность — вольнонаемные рабочие-землекопы в СССР, образца 1930 года:

«Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда».

Андрей Платонов. Котлован

У Велимира Хлебникова, Бабеля, Э. Багрицкого (я уже не говорю о Маяковском и Горьком) — эти любовно выписанные «кристальные» молодые люди — чекисты первого призыва. Поэты шли на чёрный призрачный свет, становясь свитой этих, как им казалось, новых берсерков, «яростных, непохожих, презревших грошевой уют». Заражаясь, как дети на Каймановых островах, свежим, инфицированным «высокой болезнью» мозгом, поедаемым ими тут же, у разделочных столов. Присутствие на расстрелах в подвалах ЧК становилось каким-то обязательным элементом клубной жизни. Тут отмечались почти все и потом «выблёвывали» из себя строчки о пережитом:

«У статуи Родена мы пили спирт сырец — художник, два чекиста и я — полумертвец».

Вл. Луговской

Нежность к животным у Маяковского и Михаила Светлова. Но в их поэзии — самые близкие человеческие существа: отец и мать — объекты исступлённого садистского насилия.

«...Мы и его (отца – С.Б.) обольём керосином
и в улицы пустим для иллюминации!»

Это – Маяковский.

У Светлова в «Комсомольской песне»:

«Пусть штык проложит новый путь сквозь
маленькое тело...»

Речь идёт о теле постаревшей матери лирического героя... Удивительно, но и Анна Баркова не осталась равнодушной. Была в теме:

«...Разрываем зубами, когтями, / убиваем
мать и отца, / не швыряем в ближнего камень – /
пробиваем пулей сердца».

Было модно не только дружить с ними (чекистами), но и работать – в штате, или волонтером.

Осип Брик, например, был устроен, видимо, через Якова Агранова – друга Маяковского, юристом на Лубянку. Но почему-то часто и охотно, сбегая с литературных семинаров или от «Лилечки», присутствовал при пытках и ликвидациих в подвалах.

«Дорогой Генрих (Ягода – С.Б.), с негодованием прочёл о решении Верховного суда по „Шахтинскому делу“. Только четверо расстрелянных – это же безобразие, расстрелять надо было всех».

Максим Горький

А вот как в реальности происходила вербовка:

«Он (Бабель) сумел увидеть в лирическом и застенчивом художнике Мите Берштейне те черты, что сделали его одним из талантливейших следователей ГПУ, любимым сотрудником Евдокимова (с 1920 г. – замначальника особого отдела Юго-Западного и Южного фронтов, позднее начальник Секретно-политического отдела ГПУ-ОГПУ).

В рабочем типографии Южно-Русского общества Глевере он тоже отыскал те свойства, что сделали его полезным на этой работе».

Исаак Бабель. Письма другу. М., 2007

Иван Папанин – дважды герой Советского Союза, кавалер девяти орденов Ленина. В 1920 году стал комендантом Крымского ЧК. Рекомендует его туда Розалия Землячка. Вместе с венгерским красным интеллектуалом Бела Куном развязавшая там террор, чудовищный даже по меркам Гражданской войны.

Александр Петрович Улановский, Алекс. Профессиональный революционер. Резидент ГРУ в конце 1920-х – начале 1930-х годов.

«После освобождения Крыма Алекс был свидетелем (не участником) массовых расстрелов белых офицеров... Все любили его очаровательную улыбку. Такая улыбка бывает только у человека абсолютно уверенного в своей правоте. Он и был уверен... И по-своему абсолютно честен».

«В начале 1921 года был организован Совнархоз, туда набирали людей... Нас послали в Первомайск. В жизни не видела столько еды. Там оказались наши друзья из подполья, которые работали в ЧК, что нас нисколько не шокировало. Для нас ЧК была одним из необходимых органов. А чем реально занимаются эти органы, нас не интересовало. Зажили мы весело и сытно».

Надежда Улановская. История одной семьи

«Да, печёный хлеб,.. – с трудом выговариваю я это странное забытое слово: печёный! Мы потеряли не счёт... мы потеряли жизнь! Для мёртвых всё – ни-че-го!»

Иван Шмелёв. Солнце мёртвых

Сын Ивана Шмелёва Сергей, белый офицер, поверивший в «амнистию», был расстрелян крымской ЧК.

В конце первого тома «Проклятых и убитых»: «Чёртова яма» — Виктор Астафьев мимоходом пишет про «учебки» для призывников в оренбургской степи зимой 1942–1943 годов. Тоцкие и Котлубановские лагеря комплектования солдат (не штрафников — С.Б.) перед отправкой на фронт под Сталинград:

«...Ивовые маты кишели клопами и вшами. Во многих землянках они изломались, остро, будто ножи, протыкая тело. Солдатики, обрушив их, спали в песке, в пыли, не раздеваясь. В нескольких казармах рухнули потолки, сколько там задавило солдат — никто так и не потрудился учесть... песчаные пыльные бури, голод, холод... эпидемии дизентерии... случалось, что мёртвые... неделями лежали забытые в полуобвалившихся землянках, и на них получали пайку живые люди. Чтобы не копать могил, здесь, в землянках, и зарывали своих товарищей. В Тоцких лагерях шла бойкая торговля связками сухого ивняка, горстками ломаных палочек. Плата — довесок хлеба, ложка каши, щепотка сахара, огрызок жмыха. Как-то умудрялись некоторые уходить из лагеря... в оврагах раскапывали могильники павшего скота, обрезали с него мясо...»

Виктор Астафьев. Прокляты и убиты

«Низкорослый немецкий унтер-офицер в пересыльном лагере в бельгийском Алосте, багровый от злости и уязвлённого самолюбия, кричащий на пленных британских офицеров, со смехом рассматривающих плесень на выданных им пайках чёрного хлеба из муки грубого помола... В старом мешке ещё осталось несколько банок сгущёнки и сардин. В шутку я дал мрач-

ному тюремному интенданту плитку шоколада из пайки Красного Креста. Он посмотрел на шоколад, словно на сокровище, потом украдкой сунул его в карман и приложил палец к губам...»

В последнем отрывке речь идёт о пойманном в ходе побега из лагеря английском лейтенанте. Он покидает тюрьму в польском Плоцке и следует в «строгую тюрьму» — замок Колдиц в Саксонии. Вот это место в его описании:

«Война отчасти вернула старому дворику жизнелюбие и краски былых времён. Здесь можно было встретить евреев, беглецов и „нарушителей спокойствия“ любой национальности, которые навлекли на себя гнев нацистов... В атмосфере веселья и дружелюбия угрюмая тюрьма, казалось, отступила в моих мыслях на второй план».

Эйри Нив. Побег на войну

«Итак, Новый год (1942 год — С.Б.) по-новому стилю мы встретили в клубе. Было организовано несколько столов — по симпатиям и играл самый настоящий джаз... Снедь была изготовлена заранее по камерам, равно как и горячее вино с фруктами... мясо было подарком немецких лагерных офицеров после охоты в Forêt de Compiègne (Компъенском лесу)...»

Евреев освобождали и русских, и осенью их было освобождено довольно много».

*В.А. Костицын. Воспоминания о Компъенском лагере.
1941–1942*

«Я хотел рассказать тебе о том вечере, о двух часах, проведённых в кафе на набережной Сены: позднее лето ещё заливало золотом весь город, по улицам прогуливались огромными толпами пёстро одетые горожане, и я был счастлив, глядя на них. Иногда небольшой оркестр исполнял

вальсы Штрауса или Лайнера, это было прекрасно... Здесь прекрасная плодородная земля, и по утрам во время учений в нашем лесу или поблизости от него повсюду на пологих склонах или холмах видны рабочие лошади, вплоть до самого горизонта... Я сижу в каком-то французском кабаке над названием: „У господина бургомистра“, я — единственный посетитель. Всё шумное семейство хозяина — старики, молодые с детьми и две служанки — собрались во время обеда за круглым столом. Они отлично живут, я бы тоже, пожалуй, не отказался от хорошей отбивной...»

*Генрих Бёль. Письма с фронта. Западный фронт.
Май-июнь 1942 года*

«Что касается самой оккупации Франции, то в 1942–1943 годах я по карточкам получал (восьмилетним ребёнком — С.Б.) две плитки шоколада в месяц и почти по пол-литра молока в день. И все мы жаловались на голод... что не мешало тому, что за новогодним столом были устрицы и чернорыночная ветчина».

Никита Кривошеин. Течёт река Лета

«В годы войны, когда я возвращалась из Парижа домой на велосипеде по полевой дороге, я издали видела две старые черепичные крыши в сизой дымке Иль-де-Франса, маленькую и большую, потонувшие в зелени старых яблонь и груш».

Нина Берберова. Курсив мой»

Сизая дымка Иль-де-Франса, разговоры на полевой дороге Мартина Хайдеггера, рассказ К. Паустовского «Доблесть».

«...Такую тишину называют „мёртвой“. Умер дождь, умер ветер, умер шумливый беспокой-

ный сад... через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в саду».

Константин Паустовский. Прощание с летом

В Ульяновске уже 1948 года:

«В многочасовой очереди за сахаром, когда в одни руки полагалась строго отмеренная норма, бабы остервенело били нестарого безногого человека на самодельной тележке, который въезжал в магазин за кульком сахара несколько раз. Позднее милиция подбирала таких по городу и куда-то увозила».

Никита Кривошеин

Когда вдумываешься в эти «структуры повседневности», начинаешь смутно понимать какие-то фундаментальные черты советской цивилизации.

Размышления начинаются со знакомых вещей, а заканчиваются тупиком. Наш мир парадоксален, потому что поименованное в нём как раз надёжнее всего скрыто.

Странный язык, словно кто-то пытается составить предложение, используя не слова, а раскрошившийся хитин, сброшенный насекомыми в давних метаморфозах.

«...Горстки ломаных палочек, огрызок жмыха...»

«Общее число всех категорий пропавших без вести (пленные, дезертиры, неучтённые в донесениях штабов, убитые, оставленные на территориях, захваченных противником, раненые) составляет 6 миллионов 745 тысяч человек».

Марк Солонин. Мозгоимение. М. 2008

Действующая армия (РККА) к первому января 1942 года (полгода и одна неделя боевых действий), потеряла, как минимум, 8,5 млн человек. Собственно убитых в бою — около двух миллионов.

Остальные: 3,8 млн взято немцами в плен. 1,0 — 1,5 млн дезертиров уклонились и от фронта и от плена. Среди них — 40 тысяч перебежчиков. Оставшийся миллион — раненые, брошенные при паническом бегстве, и неучтённые в донесениях с фронта убитые.

Из донесения начальнику Главного политического управления РККА:

«Полк, которым командует т. Зайцев, на 1385 человек имеет 350 винтовок, а 6-й стрелковый дивизион 4-ой армии — 183 винтовки».

30 июля 1941 года.

Вермахт за два с половиной года военных действий (с 1 сентября 1939 года по декабрь 1941 года), потерял 29 человек перебежчиками. За первый год войны с СССР (до 1 июля 1942 года) — 17285 солдат и офицеров вермахта взято в плен.

Военные потери Второй мировой войны, личного состава в процентах к числу взрослых, годных к военной службе мужчин призывного возраста: США — 1,3%, Финляндия — 11%, Япония — 15%, Германия и Австрия — 25%, СССР — 67%. Общие же потери населения СССР в войне расположены между официальными 26,7 миллионами и осторожно озвученным российским военным историком Борисом Соколовым числом: 43 миллиона человек.

Количество принудительных смертей за первую половину XX века на территории СССР находится в «вилке»: 50–65 миллионов. В России — 25–35 миллионов.

Невозможность точной количественной оценки является фундаментальной особенностью и методологическим основанием Русской катастрофы.

«Миллионы убитых задёшево / протоптали тропу в пустоте».

«В действительности свидетельство о смерти подписано в 1941 году, когда рухнула и погибла та система, которую вы называете советской».

Мераб Мамафдашвили. Голоса ушедших

А посмертная жизнь солдата-победителя образца весны 1945 года выглядела так:

«Я окинул взглядом лежащий внизу город, уныло одноцветный от пепла и пыли, неподвижный, вроде бы запланетный; светящуюся вдали лунным серпом широкую реку под названием Волга, никого и ничего в себе не отражающую, пустынную. Под осыпным берегом всё обнаруживались и обнаруживались полуистлевшие трупы.

(А в недостроенной казарме — С.Б.) ...мы лежали на полу, застеленном полынью и колючкой, растущей по оврагам... Тут, в Сталинграде, слыл я уже „весёлым солдатом“, но я не был весёлым, взвинченным был... отчего-то презирал себя с этими кирпичами, в этой драной одежде... По оврагам давно иссохли, только зародившись, может, и не зарождались вовсе, весенние потоки, сорила липким семенем прошлогодня полынью, колючка, костистый низкий татарник, что так вот после потопа, сухие, бескровные, вроде бы и родились сто, а может, и тысячу лет назад...»

Виктор Астафьев. Весёлый солдат

«В 1942 году, во время военных действий в Северной Бирме, соотношение взятых в плен и убитых военнослужащих японской армии было: 1 к 120».

Р. Бенедикт. Хризантема и меч

Послесловие

Память Войны и прилегающих к ней (с той и с другой стороны) двух десятилетий, ожившая в последние годы в десятках мемуарных публикаций, будучи собранной в единый текст, меняет не только наше представление о прошлом, но делает проблематичным само его существование: умопостигаемое прошлое исчезает. Язык почти безуспешно пытается упорядочить опыт жизни, собственно, жизнью не являющейся.

Алексей Лосев, вспоминая свои лагерные годы, очень точно сформулировал: «Возьми опыт в чистом виде — это же будет ад».

Связность языка, органика его глубинных порождающих структур, пытающихся пробиться через эти дебри, подвергается непосильному испытанию. И не всегда выдерживает его. То, что скрывается за фактами — становится проблематичным.

С чем же мы остаёмся?

Например, с этим:

«В воспоминаниях 19-летней девушки, пережившей вторжение Красной армии в Венгрию, описываются массовые изнасилования, ставшие бытом для сотен венгерских женщин. Спецификой их во многих случаях был мотивированный только самой техникой процесса, (а не жестокостью исполнителей) перелом позвоночника у жертвы. Искалеченных таким образом женщин не пристреливали, оставляя „жить“ ещё несколько дней».

Алэн Польц. Женщина и война

Или — с этим:

«Данные МО РФ о количестве демобилизованных по ранению из РККА (кстати, наверняка — заниженные) за время войны — это 3,8 миллиона человек: 8% 34-миллионной к 1945 году армии. Инструктивное письмо о работе ВТЭК в условиях военного времени от 9 августа 1941 года запрещает: „давать инвалидность тем, кто мог работать по старой специальности, даже если он потерял один глаз или конечности“. В июле 1942-го принято постановление об ужесточении контроля над лицами с первой группой инвалидности: „Обязательное освидетельствование — каждые три месяца“. В реальности — это человеческие обрубки на деревянных платформах, „ласково“ именуемые в народе „кожаными жопами“, грохочущие подшипниковыми колесиками по лестницам собесов.

А итогом борьбы с „победителями“, совпавшим с окончанием войны, стало заявление наркома социального обеспечения т. Сухова: „Все полученные на войне увечья, в отличие от полученных на производстве, являются ни чем иным, как локально ограниченными дисфункциями, не имеющими негативных последствий для организма“. Май 45-го года».

Беате Фидлер. Нищие победители

Или — с этим:

«Пусть я голодный, ржавый и ободранный, с душой зажатою, как палец меж дверей, но я люблю карательные органы — из фанатиков, а не писарей».

Это стихи «мальчика» попавшего на войну в 22 года, ставшего там «дознавателем» военной прокуратуры, а спустя два десятилетия — одним из лучших русских поэтов второй половины XX века.

Вот что рассказывает Алексею Герману замначальника уголовного розыска Ленинграда, у которого «маму съели на Халтурина»:

«За трупоедство мы расстреливали только вначале, а потом не трогали: весь город не расстреляешь. Подъезжаешь к „Дороге жизни“ — там всегда в сторонке лежали трупы с вырезанными ягодицами».

Герман: Интервью. Эссе. Сценарий

В этих случайно выбранных эпизодах история и человек как целое исчезают. Нам остаются только «локально ограниченные дисфункции».

Младший офицер армии США вместе со своими солдатами вошёл внутрь вспомогательного отделения («отстойника») концлагеря Дахау: Кауферинг IV 27 апреля 1945 года.

Через несколько дней он оказался пациентом психиатрического отделения уцелевшей больницы города Нюрнберга.

Звали его Джером Сэлинджер. Он прожил на нашей планете 92 года, но так и не смог выбраться из того апреля. До последнего дня жизни его преследовал звук хлопков, которыми пытались приветствовать освободителей узники лагеря.

«Так как на их руках не было плоти, звук был странно приглушённым, потусторонним».

Двадцать лет назад, вернувшись с Первой чеченской, я ещё не понимал, что невзначай приобрёл опыт, достаточно редкий для человека своего поколения. Но уже тогда понял одну вещь: опыт границы (наблюдателя которой размазали по плоскости амальгамы зеркала) даёт возможность двойного зрения: брошенный мордой в крошево погибшего мира, ты, теменным глазом, что ли, начинаешь как-то различать то, что ещё не произошло.

Качество разрешения в этой оптике оставляет желать лучшего, но уже к концу 1996 года я сумел сформулировать, что «выбрав сценарий Чечни, Россия провалилась в очень нежелательный вариант будущего». Тогда я кричал об этом, не понимая, что главным был не текст, а сам «крик», и меня тоже не понимали, поскольку, когда кончилась «зачистка» *там*, началась полировка *здесь*, и кричащие перестали восприниматься всерьёз.

И когда второй раз «наступили на грабли» в двухтысячном — это уже казалось привычным и не важным. Опыт *смерти других* на фоне наступающей «стабильности», был для очень многих какой-то досадной помехой, и гетто Чечни стало просто слепым пятном.

Так что локальные инферно «Норд-Оста» и «Беслана», зародышевые капсулы нашего ближайшего будущего, практически всеми были восприняты вне Большого контекста — вне того, что, собственно, уже случилось.

А случилось — вот что:

Он очутился в этой засыпанной снегом лесополосе, выпрыгнув из машины, тут же ушедшей куда-то в сторону. И ещё не успел оглядеться, как зависшая над дорогой «вертушка»

стала обрабатывать пустое поле слева от него. Ему казалось, что там, вверху, кто-то прикуривает, ломая отсыревшие спички одну за другой, и бросает их вниз, в темноту. Потом его швырнуло на мёрзлые чёрные листья, и в исчезнувшем мире из всех ощущений ему был оставлен только сильный свежий запах расщеплённого дерева.

Открыв глаза, он увидел тусклые звёзды, смотрящие на него через присыпанные снегом рёбра собора со снесённым порталом. Потом, чуть повернув голову, он внезапно сместившимся взглядом окинул то, что лежало почти вплотную к нему, и, припомнив строчку старых стихов, решил, что здесь совсем нет той недоброй тяжести, без которой, как правило, не обходится большая архитектура.

Потом он подумал, что если лежать неподвижно, то «хвост Медведицы» пройдёт между третьим и четвёртым ребром ещё задолго до того, как наступит рассвет. Он ещё раз вспомнил стихи и понял, что они неплохо звучат и теперь, на исходе его и их века, но уже мало что значат.

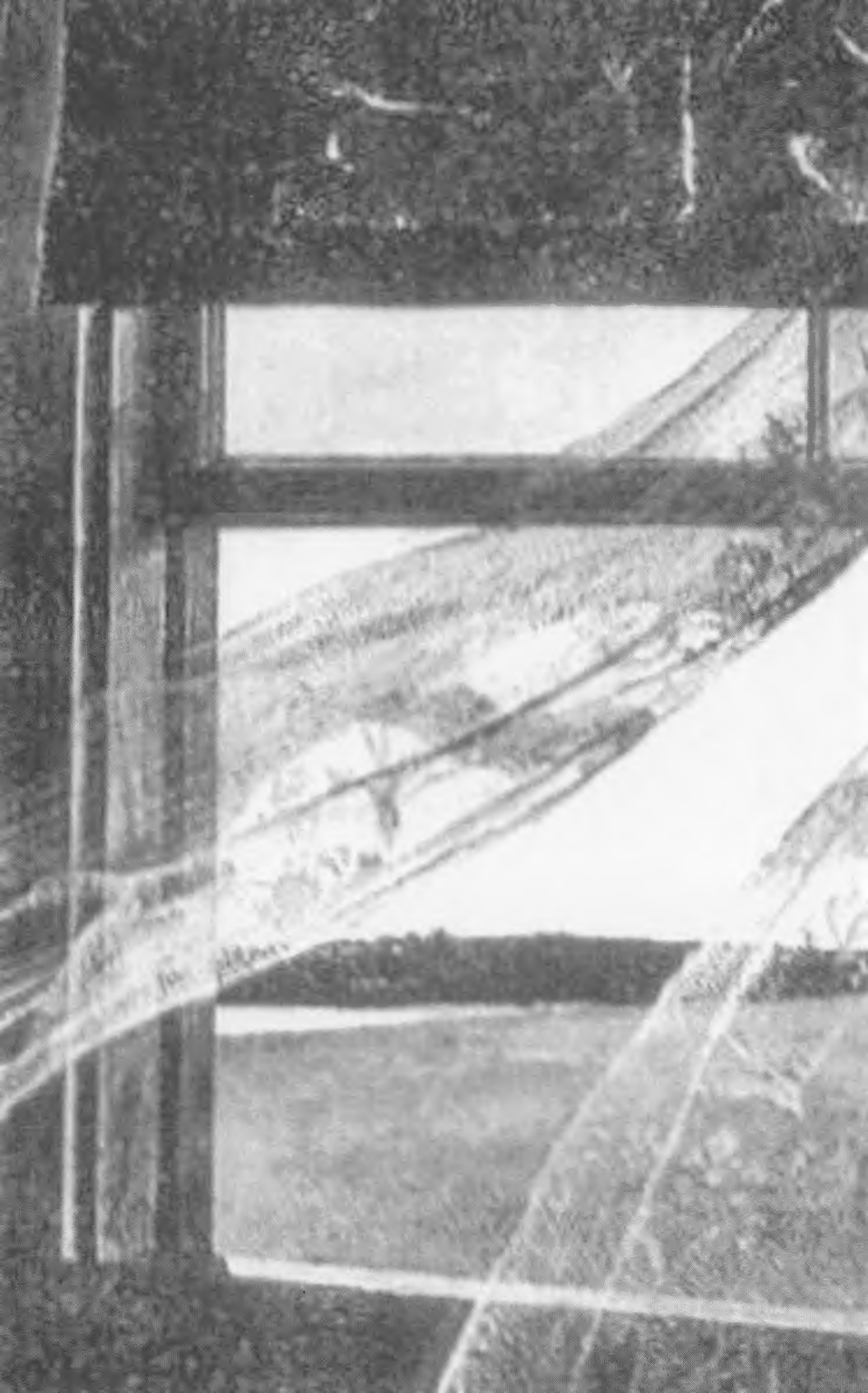
Плоть мира, в которую был втиснут и тот далёкий собор, и эти искромсанные осколками деревья, и отполированная собачьими зубами и ветром грудная клетка человека, прижавшаяся к нему, уже не нуждалась в словах, а была только последним домом для камня, дерева, путника, тумана.

Что же касается «строчки надежды», то с этим — дефицит. Подразумеваемый в финале послесловия текст Манделъштама: «Из тяжести недоброй /

и я когда-нибудь прекрасное создам», как его ни верти, не уходит из сослагательного наклонения. И как из моего опыта герменевтического чтения и крошечного, но весомого военного опыта вывести формулу прекрасного, я просто не знаю.

2008–2014

Москва



A black and white photograph of a landscape. In the foreground, a large, textured, light-colored structure, possibly a tent or a large piece of fabric, is draped over a frame. The structure has a complex, woven or knitted appearance. In the background, a field of tall grass or reeds is visible, extending to a dark line of trees on the horizon. The overall scene is somewhat abstract and evocative.

Встречи

Переводчик Густав Шпет — ссылка и гибель

Густав Густавович Шпет (1879–1937). Философ, логик, лингвист, историк, литературовед. Одним из первых в России приступил к разработке основ герменевтики, семиотики и философии языка. В 1935–1937 годах в сибирской ссылке. Расстрелян.

Край плоскости ИЛ-14 в крупных, почерневших от бензиновой гари заклёпках над ржаво-обожжёнными выхлопными трубами, наискось прострачивающий туго натянутую наволочку осеннего неба. Внизу чернозём «убитой» бесконечными ударами самолётных кордов ВПП.

Томский аэродром. 1967 год.

Потом автобус, прежде чем спуститься в город, петляет между охряных вертикалей в чёрных пробоинах стрижиных гнёзд.

Глинистые обрывы Каштака — северной окраины Томска — ветвятся оврагами. Весной струи прозрачной воды режут вниз, в извилистых руслах, и никто не слышит, как сыплются кости из вскрытых паводком расстрельных рвов 1937 года.

До тяжёлых бульдозеров, планирующих пустырь под новостройки, до брежневских разноцветных девятиэтажек на Каштаке — ещё почти десять лет,

А муравьи и землеройки не помнят родства.

Уже много лет мне не даёт покоя сухощавый пятидесятисемилетний человек строгой геттингенской выучки, шагнувший в смерть прямо со строчки перевода старой немецкой книги.

«...И прямо со страницы альманаха, от новизны её первостатейной, сбегали в гроб ступеньками, без страха, как в погребок за кружкой мозельвейна...»

Может быть потому, что тридцать лет спустя дюралевое ничто вбросило меня прямо в точку, где эта смерть состоялась, а в моей студенческой сумке тогда лежала чёрная тяжёлая книга с золотым теснением на обложке: Гегель. Сочинения. Том XIV. Феноменология духа. Перевод Густава Шпета.

Имя переводчика мне ничего не говорило.

От ссыльного остались школьные тетради с чуть наклонными шпалерами букв. Полный перевод гегелевского текста. Можно, почти не напрягаясь, начав с завершающей последнюю тетрадь точки, скользнуть (сквозь неё) внутрь, покинув плоскость листа, и попасть в место, где из них рождались слова:

«У меня на табуре стоит ящ, и в нём само-нужные словари, — сами в руки лезут, — а на яще, опираясь спиной на бюро, — раскрытые книги, а ещё от яща и вдоль стола, — крыша от яща, одним боком опирается на стол, а другим в бюро, — чудно и, главное, гениально!»

«То, что ЗДЕСЬ не исчезает, есть „Я“. Исчезновение... задерживается тем, что я удерживаю этот день, потому что я его вижу (это) дерево, по той же причине».

Гегель. 1807. Шпет. 1937.

Необходимо понять, что усилие, при котором автором перевода осуществляется «удерживание» смыслов: («этого дня, этого дерева») состоит в том,

что оно оплачивается только смертью. В которую он — переводчик должен вступить отнюдь не для того, чтобы связно пересказать «сон в форме разума». Речь идёт о Бодрствовании-в-смерти, схватывающем непостижимую иначе реальность (пейзаж после битвы) в которой классическая философия наконец-то завершает себя.

Увидеть гегелевский дискурс, перетекающий в отверстие глаза, занятого освоением прицельной оптики.

«...Я слышу в Арктике машин советских стук, я помню всё: немецких братьев шеи, и что лиловым гребнем Лорелеи садовник и палач наполнил свой досуг».

Как странно вслушиваться из сегодня в звук его осторожных и тщательно выверенных шагов по извиистой тропе, ведущей вниз через дебри гегелевского ада.

(«Миллионы убитых задёшево протоптали тропу в пустоте».)

Думать о переводе, как о технике вживания в то, что, в сущности, не имеет уже никакого отношения к жизни. Реконструировать холодную радость узнавания предсказанного, а теперь — раскрывающегося перед ним (почти за полтора столетия до его осуществления) пейзажа. Нет — натюрморта.

«Быть под подозрением приравнивается виновности или имеет такое же значение и такие же последствия, а внешне выраженная реакция на эту действительность... состоит в холодном уничтожении (подозреваемого), у которого нечего отнять, кроме лишь самого (его) бытия».

Снег засыпает этот город, бревенчатые двухэтажные дома, оранжево-золотистые на восходе и закате, угольной черноты — так что, если бы не снег, то исчезающие совсем, — ночью.

Тогда всё видно по-особенному: чётко и мёртво, в том числе и — только что, на исходе ночи, найденные слова, которых просто не может быть, потому что на языке оригинала им 130 лет, а перевод — уж точно: про «здесь и сейчас».

«Уничтожены все сословия, составляющие те духовные сущности, на которые расчленяется целое. Право на стороне того, который сумел схватить другого и изгнал его в этом состоянии бессилия...»

Первый раз те, на чьей стороне «право», пришли за ним в 1935 году.

Лубянская тюрьма, Бутырки, Новосибирск, Красноярск, Енисейск и через полгода — обратным качанием маятника (часть пути на санях, по зимнику вдоль Енисея) — Томск.

«...Увези меня в ночь, где течет Енисей... потому что не волк... — судорога кровяных телец, проталкивающих сквозь спазм сосуда — ...расширением аорты могущества в белых ночах. Нет — ножах... Глаз превращался в хвойное мясо».

Город был воротами смерти для десятков тысяч, месяц за месяцем бредущих сквозь него по проспекту Кирова, потом — проспекту Ленина — от железнодорожного вокзала к речной пристани. А там чёрные баржи, плывущие вниз, по Томи, потом — Оби.

В никуда.

Другой ссыльный, по ту сторону Каменного пояса, подёргивая птичьей головой, всё вслушивался в «жужжанье узких ос», переходящее в сухой шорох ножа по точильному камню: «Воронеж... ворон... нож...»

Густав Шпет слышал холодный чистый колокольный звон:

«Томл–Тоск–Томскл–Томлск!»

Из письма к дочери

Мой прадед был сослан в Сибирь из Польши в 70-е годы теперь уже позапрошлого века, дед учился в Томском технологическом институте в годы Октябрьской Катастрофы, отец бегал на работу на лыжах по дорожкам, пробитым в глубоком снегу вдоль центральной улицы. Кажется, совсем не подозревая о «Великом оледенении», охватившем именно его «одну шестую», и уж точно не зная о ссыльном философе, жившем в переулке над оврагом, совсем недалеко от его дома.

По другую сторону мира, в Париже, один из младших современников Густава Шпета – русский философ-эмигрант Александр Кожев (А.В. Кожевников, 1902–1968) ведёт семинары по «Феноменологии духа» в Практической школе высших исследований. Итог самораскрытия абсолютного духа он видит в модусе установления Всеобщей Единой Империи:

«Конец истории – это не Наполеон, это Сталин, и я должен был возвестить об этом...»

Его лекции потрясали слушателей – интеллектуальную элиту межвоенной Франции :

«Сколько раз мы выходили из этого зала, задыхаясь! Мы были пригвождены!»

Жорж Батай

Он не задыхался и даже не мог позволить себе «бредить от удушья», ясно понимая встречное осуществлению перевода — движение к гибели.

Зная, что это именно его

«...ожидает смерть, у которой нет никакого внутреннего объёма, самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значение не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить глоток воды».

Гегель. 1807. Шпет. 1937

За сутки до последнего ареста (26 октября 1937 года), вскоре после расстрела Николая Клюева (переведённого в Томск из Колпашева) и за двадцать дней до собственной гибели, он напишет жене, только что, через «102 ч. 15 м. по выезде из Томска вернувшейся в Москву»:

«Этот снег уже не сойдёт... запотело стекло, — значит, всегда будет замерзать, — только одно окно, которое возле стола с ящиком».

Тем самым, на крышке которого был незадолго до этого дня закончен перевод «Феноменологии», всё же «вытаявший» из-под снега на исходе оттепели — в 1959 году.

Было так: он неловко вскарабкался по железной подножке в кузов трёхтонки — «ЗИС-5». Деревянный, обитый кровельным железом ящик с фанерной кабинкой для шофёра. Грузовику понадобилось

не более 15 минут, чтобы очутиться за городом, на пустыре, где мёрзлые глинистые обрывы, лес справа, если стать лицом к реке, скорее угадывающейся, чем видимой в холодном тумане далеко внизу.

Точная дата смерти Густава Густавовича Шпета (16 ноября 1937 года) в определённой степени условна. Расстрельные рвы на Каштаке заполнялись два-три дня, а список подавался задним числом.

«Смерть, если мы так назовём упомянутую недействительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мёртвое, требуется величайшая сила. Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережёт себя от разрушения, а та, которая претерпевает её и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истины, только обретя себя самого в абсолютной разорванности... и является силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нём».

1992–2008

В сторону Полины

Сны

«Это огни на голове смерти, — сказал он мягко. — Смерть надевает их, как шляпу, а затем галопом срывается с места. Это огни смерти, галопом несущейся за нами и подбирающейся всё ближе... И вдруг ты видишь странное образование перед своим ветровым стеклом. Если ты приглядишься... оно напомнит, скажем, лицо прямо в середине неба перед тобой... Лицо войдёт внутрь тебя, и тогда ты узнаешь — оно всё время было лицом друга: или мною — говорящим, или тобою — пишущим. Смерть была ничем всё время. Пустяком. Она была крошечной точкой, затерявшейся на листках твоего блокнота. И всё же она войдёт внутрь тебя с неудержимой силой; она расплющит тебя и растянет по небу и земле и за их пределами».

Карлос Кастанеда

Перед нами вторая часть дневника Полины Жеребцовой — девочки с планеты Чечня. В первой книге мы отчётливо различали объективный рельеф войны. Так сказать, подробности быта. Реальность там была чудовищно деформирована, но всё же оставалась общей — для нас, читателей, и для автора.

А многое, о чём пишется на этих страницах, совершается внутри другой реальности, где реперы, на которых обычно держится наше восприятие, смещены либо отсутствуют вовсе.

По видимости, с героем дневника что-то происходит: он передвигается в пространстве и времени, не очень отличимом от тех, в которых живём все

мы. Это похоже на особую разновидность темноты, видеть и двигаться сквозь которую, как правило, и означает — жить.

Если согласиться на условия, диктуемые Темнотой, то девочка, может быть, увидит то, что не увидит никто другой:

«После пробуждения я не была способна размышлять. Мысли казались путанными, трудными, неясными, будто я отходила от общего наркоза. Лунный свет, проникающий сквозь шторы, был ярким и осветил мою руку. Проведя рукой по лицу, я поняла, что она в крови. Я бросилась в ванную комнату, включила крохотную электрическую лампочку и заглянула в треснувшее зеркало. Мой подбородок и часть шеи были рассечены, словно хирургическим скальпелем, и оттуда потоком лилась кровь. Потом это стало похоже на ожог, а немного позже он трансформировался в тонкую красную линию, которая начиналась у нижней губы и заканчивалась почти у ямочки на щеке».

Так и текст дневника — тонкая красная нить, появившаяся из ниоткуда, начинает движение к нам. Станок ткёт. А потом уже она назовёт его — дневником.

Пока девочка ещё не знает об этом, но приобретаемый опыт старательно учит её относиться серьёзно к материи снов. Ведь те, кто не научился ориентироваться внутри этих внутренних руин, не смогут договориться с их насельниками. И, несомненно, исчезнут с поверхности мира.

Я всё же жива — смутно ощущает Полина — потому что научилась особой технике узнавания ситуаций, в которых присутствует смерть, и мест, куда

чёрная бабочка, спланировавшая на развалины Города, отложила свои личинки. И хотя

«смерть может принять любые виды и формы, но я всегда узнаю её. Ведь, мы обычно сидим с ней рядом и говорим обо всём».

Когда вдумываешься в эту фразу, начинаешь понимать, что, может быть, такой сон — это как раз то условие, при котором видящий его может выйти из «ткани бытия», но при этом — не умереть.

Поскольку смерть, пришедшая во сне, что-то вроде прививки от той, подстерегающей снаружи, и единственный шанс уцелеть — переболеть этим и скрыться внутри наблюдающего за тобой неподвижного глаза.

«Мне было 11, и меня уже несколько раз пытались убить. Смерть пришла ко мне в виде ребёнка. Вместо лица у него был череп, а на голове шерстяной колпак с бубенчиками».

Некоторая литературность этой записи объясняется недюжинной начитанностью автора. В её домашней библиотеке, которая исчезла вместе с разрушенным домом, было несколько тысяч книг. И книжная смерть тесно соседствовала с той, которая бродила по её двору.

Поддатые «геополитики», склонившиеся над Большим бильярдным столом, сноровисто загнали Чечню в лузу истории, в Ничто — плетёную из ржавой проволоки тесную клетку, где жизнь и смерть почти перестали отличаться друг от друга. Очевидец рассказывает:

«Перед тем, как сгореть, вещи или люди этого мира разогревают воздух вокруг себя, и он становится текучим и видимым, похожим на воду горной речки, закручивающуюся вокруг камня. Выжившие собирают уцелевшие кости рядом с остовами сгоревших домов и совсем не знают о горячем потоке, уносящем их навсегда».

И девочке, живущей внутри этого мира, даже если она сопротивляется происходящему вокруг, приходится вступить в этот поток. И научиться языку убежища, вывернутого наизнанку полутонной бомбой, разобрать в невесомом слове «воздух» чей-то предсмертный хрип и разглядеть людей, которым, чтобы уцелеть, приходится притворяться: бурый ссохшийся лист, плоский камешек, шип, растущий на ветке.

Из всего этого дневнику Полины придётся протиснуться во внешний мир, отталкиваясь от чужого, перемолотого войной бытия. И понять, как превратить в слова *«мерцающий объём за порогом мгновения»*, внутри которого ползёт искалеченный мотылёк из защищенного сна Чжуан-цзы.

Вот почему в её дневнике так много значимых снов, которые теперь придётся увидеть и нам, её читателям.

Полина Жеребцова

Муравей в стеклянной банке

Чеченские дневники 1994–2004 гг.

*«Смехота была, наверно, смотреть,
как я дёргаюсь, как кукла Гуссе на невиди-
мых резинках».*

Жеребцова Полина, 1985 года рождения.

Место проживания на 1995 год: Россия. Чеченская республика, город Грозный, Старопромысловский район, улица Заветы Ильича.

«Ребёнку законом и другими средствами должна быть обеспечена специальная защита и предоставлены... условия, которые позволили бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно... главным соображением должно быть наилучшее обеспечение интересов ребёнка».

*Декларации прав ребёнка. Провозглашена резолюцией
1386 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года.*

Принцип 2

(15 сентября 1990 года вступила в силу для РФ.)

*Далее приводятся ссылки на этот же документ.
(Станислав Божко)*

Во время новогоднего (1995) штурма Грозного район, где проживала Полина, обстреливался из танков, подчинённых Министерству обороны РФ.

Дом — место проживания — был частично разрушен. Он медленно проваливался сам в себя, иногда сдавливая тех, кто ещё оставался там в замкнутых каменных полостях.

В её уцелевшей однокомнатной квартире несколько месяцев проживало 11 человек — беженцев из разрушенных квартир соседних домов.

«В январе 1995 года, мальчишки принесли письмо, найденное у мёртвого русского танкиста, которое тот написал своей жене.

Его читал весь дом. Пожилые женщины плакали. Там были такие строки, которые я переписала в дневник: „...Береги наших дочек. Мы спускаемся к городу Грозному. У нас нет выбора. Мы не можем повернуть назад, так как наши же танки навели на нас пушки. Если мы повернём — это будет расцениваться как предательство. Нас всех расстреляют, согласно приказу. Мы идём на верную смерть. Прости меня...“»

Когда весной бои поутихли, взрослые отнесли это письмо на почту и отправили по указанному в конце обгорелого листка адресу.

Во время походов за питьевой водой по жителям микрорайона (и девятилетней Полине) часто вёлся огонь с расположенной на территории товарных складов военной базы федеральных войск. Были убитые и раненые. В том числе — дети. Их хоронили в огородах и около подъездов.

«Ребёнок должен быть защищён от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации...»

Принцип 9

В апреле 1995 (во время одного из походов на разрушенный консервный завод, так как, по словам пришедших оттуда, в развалинах можно найти еду,

консервы) она увидела лежащие вдоль дороги объеденные собаками, обгоревшие трупы российских солдат. Ребёнка это сильно впечатлило, хотя окружающие взрослые были вполне равнодушны.

Внутри её снов они потом приходили на том, что им оставили грозненские одичавшие псы.

И вели себя, как живые...

Шли уличные бои.

Летом 1995 года Полина поступила в 11-ю школу (район Берёзки). 55-я школа, в которой она училась до войны, была полностью разрушена федеральной авиацией. В подвале погибли люди из окрестных домов. В новую школу пришлось ходить через простреливаемое Старопромысловское шоссе.

«Ребёнок имеет право на получение образования, которое должно быть бесплатным...»

Принцип 7

Платила она по полной...

«Тогда я впервые столкнулась с ксенофобией по отношению к себе и нескольким другим русским детям (два-три человека на 500), учащимся в этой же школе. „Убирайся к себе в Россию, русская свинья!“ В русских детей бросали камни».

«Восьмилетний чеченский мальчик подошёл ко мне во дворе школы и спросил: „Ты русская?“ Когда я, не подумав, ответила: „Да“, он влепил мне пощёчину. Это стало ключевым событием моего понимания жизни.

Через два года я узнала, что в конце 1994 года вся семья этого мальчика погибла при бомбёжке».

«Осенью 1995 года в школу, якобы с проверками, зачастили русские военные. Одновременно с этим во дворе школы появились разбросанные пластмассовые игрушки, начинённые ядовитыми и взрывчатыми веществами. Одной девочке сильно обожгло глаза».

«Ребёнку должна быть обеспечена полная возможность игр и развлечений».

Принцип 7

Чеченские дети стали исчезать бесследно по дороге из школы.

«Меня забрала из школы мать. Вообще у меня было несколько школ. Их все разбомбили. Мама шутила:

— Не ходи в новую школу, иначе её тоже разбомбят!»

Кроме очень редких появлений машины с бесплатным хлебом, никаких источников поддержания жизни не было. Полина продаёт на центральном рынке пирожки и сладкую воду, работая в чужом кафе. Вырученных денег едва хватает на еду. Мать сильно болеет.

«В 1996 году было убито много русских семей. Занимались этим не только горожане, но и какие-то люди с гор, пришедшие в Город. Спивающаяся армия едва могла защитить себя, а не русское население. Пришли убивать тётю Валю, живущую в соседнем подъезде. По наговору соседей-чеченцев, решивших захватить её квартиру с вещами. У пришедших боевиков была бумага с печатью, изображающей волка, подписью Басаева и надписью: „Враг чеченско-

го народа“. Женщине и восьмилетнему ребёнку удалось спастись, а заступившийся за них старик-ингуш, был загнан в свою квартиру, избит там прикладами и через некоторое время умер».

«Во время августовских событий 1996 в наш подъезд залетел снаряд. У подъезда собралось много людей, потому что было временное затишье. Почти все они были убиты. Мать вышла с простынёй в руках, чтобы перевязать раненых, и отдала её кому-то из прибежавших на взрыв соседей. Пошла за второй. В этот момент прямо в подъезде взорвался ещё один снаряд, и все прибежавшие на помощь люди погибли.

Это было как урок анатомии.

Я выбиралась оттуда по щиколотку в крови. Чьи-то ноги валялись в обуви отдельно от тел...

Ополченцы, прикрывая уцелевших женщин и детей собой, вывели нас из зоны обстрела. Потом они отвезли нескольких раненых в больницу и собрали им деньги на операции».

«Все формы репрессий и жестокости, и бесчеловечного обращения с женщинами и детьми, включая... разрушение жилищ... совершаемое воюющими сторонами в ходе военных операций... считается преступлением».

Из Декларации о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах, провозглашённой резолюцией 3318 Генеральной Ассамблеи 14 декабря 1974 года.

Статья 5

Два последующих года — школа без отопления, с выбитыми взрывной волной от иногда разрывающихся во дворе снарядов — окнами. Снег на полу в классах, догнивающие трупы военных во дворе, руки, мёрзнущие и в перчатках, арабская вязь в тетради...

«Мы привыкли к терактам: периодически на улицах Грозного взрывались автобусы и машины. Это становилось нормой жизни».

Она торгует соком, жвачкой, сигаретами на центральном рынке Грозного.

«Азербайджанцы возили товар из Баку и давали его на реализацию бесплатно (без залога). Часто на базаре что-то взрывалось. Толпа разбегается, а потом смыкается в тех же местах. Базар — единственный источник жизни. И — один из многих источников смерти».

Вторая война

Замытые на стенах надписи: «Русские свиньи, убирайтесь!» сменились к 2000 году: «Чёрным собакам смерть!» с адресом отметившегося. Например: Череповец, Иваново, Уфа...

Полина внешне мало отличалась от чеченских девушек, но в местах, где знали её русскую фамилию, особенно в школе, было опасно. Старшеклассники рвали тетради, пытались затащить в подвал или на чердак, отрезали пуговицы с пальто... Учитель-чеченец мог прямо на уроке сказать: «Русская тварь, вон из класса!»

21 октября 1999 года. Около 16. 30.
Городской рынок.

На рынке мало чеченских мужчин. В основном старики, женщины и дети.

Рынок настолько огромен, что в хороший базарный день там помещается несколько тысяч людей.

В пригородных районах уже идут бои. Школа закрылась.

Это единственное место в Грозном, где можно купить продукты или одежду.

«Я помогаю матери продавать газеты. Мы стоим на окраине рынка недалеко от Дома моды. Мы уже собираемся уходить. К нам подходит знакомая чеченка с трёхлетним ребёнком на руках. Вдруг всё небо над нами озарилось ярким красно-оранжевым светом и прогремел очень сильный взрыв.

Через торговые точки мы побежали к стоящим рядом домам, передавая друг другу ребёнка. Когда мы уже подбегали к ним, прогремел второй взрыв.

Пространство, в котором я очутилась, было насыщено бордовым плотным светом. И само стало более плотным, другим. Я понимаю, что это звучит странно, но я увидела большой серебристый вертящийся осколок, летящий мне в голову. Я почувствовала, что есть только я и этот осколок, который, на самом деле — моя смерть. И я связана с ним чем-то большим, чем то, что может произойти между людьми. Это было как мгновенные вопрос — ответ, что-то было тогда решено между ним и мной, и в результате он пролетел совсем рядом с моим виском и с шипением, высекая искры, врезался в кирпичную стену. В следующую секунду несколько менее стоворчивых попали мне в ноги. По инерции я пробежала ещё немного и упала, увидев, что моя мама затаскивает в подъезд раненную чеченскую девушку, у которой осколок срезал ногу».

«Нападение на гражданское население и бомбардировка его, причиняющие неисчислимые страдания, особенно женщинам и детям,.. запрещаются, и такие действия подлежат осуждению».
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах.

Статья 1

«Потом меня тоже затащили в подъезд. Когда туда заглянул какой-то мужчина и спросил, нужна ли помощь, ему сказали, что девушка умирает, без сознания, и чтобы он первой забрал её.

Во дворе „Дома Моды“ даже за три квартала от эпицентра взрыва лежали убитые люди. В основном женщины. Их накрывали картоном.

Меня перенесли в аптеку через двор, а маму перевели за руки знакомые. Мама была ранена в бедро.

22 октября 1999 года меня соседи привезли в 9-ю городскую больницу. Там сказали: „Нужен рентген, которого нет, так как свет отключился, а дизельный генератор пропал в суматохе“. Зато в операционной был полосатый кот. Он тёрся об ножки стула и мурлыкал. В распахнутых дверях толпился народ — люди искали родных. Кот не обращал на них никакого внимания.

Какая-то женщина, плача, просила на сложную операцию ребёнку деньги. Ей подавали.

Врач очень устал, сказал, что оперировали всю ночь, а свет всё время отключался. Многие скончались на операционном столе... „Как плохо что света нет!“ — жаловался он. От усталости его пошатывало.

Ещё врач говорил, что не всех записали, что точное количество раненых и погибших — неизвестно.

В это время нас снимал молодой немецкий корреспондент в очках. Это именно он спрашивал врачей о раненых. И меня спросил, страшно ли мне было?

Через несколько дней (с осколками в ногах), я даже с костылями еле могла передвигаться. Однако очень боялась отпустить маму, поэтому поковыляла с ней на рынок.

В месте, где упала ракета, мёртвых людей разнесло в вязкую пыль. Родственники погибших, как крысы, лазили по грудке покорёженного металла и мусора, ища лоскуток одежды или пуговицу.

„Я нашёл свою мать по обрывку волос и заколке. Мне даже нечего хоронить...“ — говорил с ужасом какой-то мужчина.

Иностранные корреспонденты что-то замеряли датчиками, а потом сказали толпе людей:

— Здесь радиация превышает все допустимые нормы! Здесь нельзя находиться!

(А люди не уходили — все искали родных, надеясь на что-то).

Я узнала, что очень многие из торгующих рядом с нами погибли, хотя мы от падения ракеты были очень далеко. Примерно за три квартала.

Погибла пятнадцатилетняя школьница от осколочных ранений, торговавшая с мамой шоколадными коробками, и совсем молодой парень, помогающий сестре собирать товар. Это были наши ближайшие соседи по рынку. Среди них была женщина, торговавшая капустой, беременная на восьмом месяце. У неё сиротами осталось 7 детей.

Шли бои. Мы не могли выехать из-за обстрелов. Автобусы с беженцами обстреливались тоже, о чём рассказывало радио.

Еда заканчивалась. Вода в пожарном колодце – тоже. Её пили, несмотря на то, чтодохлая кошка плавала там некоторое время.

Стали топить чёрный от сгоревших домов снег и пить.

Осколок в ноге резал мякоть и двигался. Боли были чудовищными, но помощь никто не мог оказать.

Я в основном лежала или передвигалась с клюкой, как старушка. Смехота была, наверное, кому-то смотреть, как я дергаюсь, словно кукла Гуссе на невидимых резинках.

Мирные люди, оставшиеся в блокадном городе, не сумевшие выехать, очень страдали. Но многие из них стали злыми и жестокими – воровали у ближайших соседей их имущество.

Это было невыносимо наблюдать...»

Время года — война

*Памяти Лены Петровой, Нади Чайковой,
Наташи Эстемировой, Виктора Попкова.*

Попасть на неё было легко. Раскачивался вагон метро, автобус во Внуково давил грязный снег, деловитые, как муравьи, люди с ночного спецрейса в Тбилиси, отрешённо улыбаясь, несли в самолёт канистры с бензином.

Через неделю, лёжа на мешках с мукой в трюме кораблика без огней, на ощупь пробиравшегося в осаждённый Сухуми, я писал в дневнике:

«Время года — осень. Год — 1992. Война на Кавказе».

Я хорохорился и делал ставку на ясность. Хотел привезти оттуда «Записки о Галльской войне». С ночного берега доносились автоматные очереди. Ветер упаковывал их в тёплую влажную вату. Смерть была далёкой и пахла морем.

Потом была зима 1995 года и горящий Грозный, уже насквозь пропитанный смертью.

В сумерках полз по холодному пахнущему мазутом месиву, бормоча: «Хорошо умирает пехота, и поёт хорошо хор ночной...», и когда приподнимал голову, видел только бугорки шинелей, припорошённых нетающим снегом.

Пехота умирала плохо, хор скандировал что-то несусветное: «Национальная безопасность... Распад России... Реформы...».

А в жаркой мгле, пахнущей ужасом и соляжкой, плыли, покачиваясь, тени в чёрных полумасках — саранча, окружённая огненной оболочкой и маленькими смерчами пепла. Как-то раз, когда они исчезли и замолк остывающий всю ночь бетон, откуда-то из

развалин приползла старуха, позвякивая жестяным ведром, и стала рыться в золе, отыскивая обгоревшие кости сородичей.

Я попал туда в составе правозащитной группы и сразу же оказался внутри движущейся в режиме перемалывания всего окружающего машины уничтожения. Отдельные узлы этого устройства иногда ломались, и тогда через образовавшиеся щели удавалось вытянуть наружу несколько потенциальных жертв. Но в целом она работала достаточно эффективно, и всё больше людей, словно персонажи рассказа Кафки, сползало в зону «низших областей смерти». Они ещё подёргивались, пытаясь не только выжить, но и собрать заново распадающийся вокруг них привычный мир. Внезапно возникающий из зазеркалья самолёт-штурмовик или залп градового огня не оставляли им ни одного шанса. Впрочем, вместе с человеком уничтожались и его окрестности: дорога, кошка, дом, дерево.

2000 год. Всё то, что виделось случайным и обратимым, вызрело и попыталось рассказать о себе. Я учился вслушиваться в предсмертное косноязычие вещей. Люди уже молчали, и только пепел шуршал «о том, что значит: сгореть дотла».

С какого-то момента я начал понимать, что выгорели сами смыслы, корневая система того, что осуществилось, но не сумело продлиться. Осталась только зола. И история золы.

Всё остальное: родник, превращённый в воронку с изувеченными трупами по краям, автобус с детьми, подорвавшийся на противотанковой мине, сожжённая библиотека — было довеском к тому, что уже совершилось в глубине. И поэтому выпало в осадок, став недоступным для понимания и оценки.

Пока я не догадался, что единственное условие, при соблюдении которого увиденное сохранит себя, состоит в моём отказе от них. Нужно просто смотреть. По возможности, становясь тем, на что смотришь. И пробуя взглянуть на мир оттуда, изнутри.

Камин

Я смотрю на выцветшие, как старая фотография, зимние пальмы и на чёрные фигурки гвардейцев Мхедриони, тяжело бегущих ко мне. Они кажутся муравьями, вязнущими в мокром песке. Деловитыми чёрными муравьями, почти неподвижными на фоне грязного холодного приюта.

Я — мёртвая обугленная коробка со скрученными огнём межэтажными балками и застывшими водопадами битумной смолы в водостоках. С почти невесомыми коконами, хранящими форму книг, на металлических стеллажах библиотеки. Иногда, вслед за порывом ветра, из них с едва слышным шуршанием выпархивают хрупкие пепельные махаоны. Если повезёт, то на брюшке одного из них можно увидеть несколько букв. Чуть выпуклых и угольно-чёрных — на сером.

Но лучшее, что сохранилось во мне, — это изразцовый камин в гостиной с провалившимся полом и небом вместо потолка. Маленький голубой камин.

Висящий в пустоте.

Сердцевина репейника

Он лежит ничком, вцепившись пальцами в дужку уже проржавевшего ведра, едва различимый в грязной траве, терпеливо оплетающей его тело.

Житель одной из ячеек в серой девятиэтажной стене, не вернувшийся с водопооя.

Ракетные удары из-за реки, изредка оканчивающиеся долгим органным воплем вспоротого железобетона, слегка встряхивают залитый холодным светом склон холма, и тогда я вижу, как из пустеющих на глазах лиловых черепов репейника взлетает лёгкий пух и плывёт над дорогой.

Автобус ещё доползает сюда из центра, но в домах давно нет тепла и почти нет еды. Вечером, когда стрельба немного стихает, жители спускаются за водой и топливом на огромную болотистую свалку позади ржавеющих рельсов железной дороги, и те, кто возвращается, разводят крошечные костры на лестничных клетках, чтобы сварить болтушку из остатков кукурузной муки.

А ночью хоронят убитых за пустыми железными гаражами.

Сфера Шварцшильда

Когда грузовичок подбросило и развернуло поперёк дороги, я, выбрасываясь на асфальт, увидел (одновременно со вспышкой ударившей рядом мины) два громадных багровых нарыва с чёрной клубящейся каймой, лопнувших над домами метрах в ста от нас.

Грохнуло так, что все окружающие звуки перестали существовать. Проводник подхватил мешок с хлебом и исчез в ближайшей подворотне. Отплёвываясь набившейся в горло цементной пылью, я нырнул вниз, ударившись плечом о какой-то выступ, и побрёл по коридору на слабый свет и запах дыма.

В голове гудело, и я не совсем понимал происходящее. Прежде всего нужно было догнать проводника и выяснить у него, где мы. Это была правильная мысль, и я уцепился за неё и не отпускал, пока не оказался в помещении с костром посередине и двумя десятками людей в узких зелёных повязках через лоб, чёрных комбинезонах и с автоматами.

Оглядевшись, я протиснулся к костру, где уже сидел проводник, подбрасывая в огонь лакированные обломки какого-то стенда. Там горело: «лучш...» и «лю...»

Лучшие люди горят, подумал я, заметив молящегося на коврике по другую сторону костра молодого чеченца.

Он ещё не успел подняться с колен, как подвал «накрыли». После нескольких тяжёлых ударов сверху один из снарядов пробил перекрытие. Взрыв разметал костёр и людей, превратив воздух в едкую непригодную для дыхания непрозрачную взвесь. Кашляя и толкая друг друга, мы отступили в последний тупиковый отсек нашей идущей ко дну бетонной субмарины.

Здесь были нары, и на них вповалку, прижимая к себе оружие, спали ополченцы. Кто-то сунул мне ломоть хлеба, тотчас же побелевшего от цементной пыли. Молот продолжал бить по подвалу. Подняв вверх свободную руку и прижав ладонь к низкому потолку, я ощутил тонкую вибрацию перекрытий, отдающуюся ломотой во всём теле.

Я сел на пол, привалившись спиной к нарам, и, закрыв глаза, почти сразу нашёл едва различимую в летних сумерках тропу, петляющую между сосновых корней. Потом шагнул раз и другой по тёплой, слегка покалывающей босые ступни коричневой хвое. Пока на ощупь.

Философия по краям

Внутри ушных раковин потрескивало, как в испорченном транзисторе, и ему казалось, что там лопается подсыхая корка из крови и цементной пыли.

Пыль была везде, и он постоянно удерживался, чтобы не расчёсывать гноящиеся ранки на руках и лице. Пока ему везло. Осколка, даже самого мелкого, не досталось ни разу — это была только острая бетонная крошка, не проникающая глубоко внутрь тела, но его беспокоило другое.

Уже несколько дней он почти ничего не слышал, вернее, слышал с какими-то необъяснимыми перерывами. Как будто кто-то неизвестный включал транзистор внутри головы, а потом, всегда неожиданно, — вырубал его. Это было опасно, потому что он уже немного ориентировался в том звуковом хаосе, который сопровождал движение под обстрелом, и потерять слух в этих обстоятельствах значило почти наверняка — перестать быть. К вечеру он оказался недалеко от университета, и когда слух включился в очередной раз, он подумал, что бредит.

Бой шёл рядом с ним. На углу улицы ярко пылал, булькая в огне, как закопчённый туристский котелок, Т-72, только что подбитый гранатомётчиком, а в тени военного фургона лежала белая мумия — забинтованный с ног до головы тяжело раненный ополченец, и кровь, пробиваясь через бинты, на глазах превращалась в бурые египетские пиктограммы.

Он подумал, что если немного сосредоточится, то, наконец, прочтёт «Книгу мёртвых» в оригинале, и тут же забыл об этом.

В пыли глохли автоматные очереди, но отчётливо звучала невозможная здесь человеческая речь,

и он, стараясь не терять чувство юмора, решил, что в атаку подняли студентов философского факультета. «Хайдеггер, Кант!» — кричали бодрые голоса, и опять: «Хайдеггер, Кант!»*.

В этот момент он перестал слышать, и его скрючило в приступе рвоты, когда он увидел, как из второго загоревшегося танка стала выползать чёрная масса, всё уменьшаясь в объёме, словно кто-то быстро сжимал в невидимом кулаке тубик с икрой, и он не мог понять: почему она не горит, пока не различил чуть колеблющиеся в почти кипящем воздухе контуры человеческого тела.

Самашки

Ты вжимаешься в спинку сиденья, — между тобой и водителем чёрный стёганный горб двигателя, — пока не продавливаешь её до металлических рёбер каркаса, и боль в спине чуть трезвит, заставляя сосредоточиться.

Голова плывёт в привычной «восьмёрке». Вверх и направо: там — внимание — четыре хлопка за лесом, — по короткой дуге налево, вниз, потом — чуть вперед и опять — вверх. Взгляд, не видя, скользит по прозрачным февральским деревьям, по белой полоске неба над ними, откуда, нарастая, нанизанные на невидимую дугу, летят к тебе шипение и визг, и — останавливается на чёрной в мелких трещинах ленте асфальта, падающей под колёса.

С этого момента ты перестаёшь чувствовать боль в спине, а потом — тело. Ты бежишь из него не

* Гайдеггер, кант — чеченск. (слэнг) — Хорошей охоты, парень!

попросившись. У тебя совсем мало времени, чтобы втиснуться в капсулу, готовую скользнуть внутрь.

Но вот ты уже в ней, в глубине тёплых ветвящихся тоннелей с рваными дырами на медленно пульсирующих стенах, за которыми другой лес и другое небо, а тело — восковая вода, рвущаяся навстречу самой себе, и ты уже глубже, хотя стекло перед тобой гудит в потоке встречного воздуха, ожидая удара.

Ты ушёл — выпяченная в мир уязвимая оболочка стала едва различимым пятном на карте забытой провинции, откуда всегда запаздывают вести, и ты равнодушно вслушиваешься в чужое бормотанье о чём-то очень далёком, случившемся вне тебя.

А вне тебя рвут металл кабины осколки из вспухшего перед капотом фиолетового куста, и стекло становится густой сетью молочных тропок, по которым никуда не уйти, грохочут комья асфальта по днищу, и сжавшееся время как нитка слюны, всё не цепляющаяся за подбородок.

А из встречной машины (и ты отчётливо видишь это, потому что голова знает своё дело, крутя «восьмёрку») рвётся огонь, и тело женщины, распятое на сорванной взрывом дверце, раскручиваясь, летит над дорогой.

Воронка

Воздух был холодным и совсем прозрачным. Бетон за ночь остыл и отвечал на редкие взрывы глубоким, очень чистым звоном. Каждый раз это было, как звук большого колокола в записи, запущенной на порядок быстрее.

Он стоял, прислонившись привычно ноющей спиной к горячему капоту «уазика». Улица была пу-

ста, и узкие полоски снега, синие в тени домов и ослепительно белые — на солнце, казались косыми линейками в ещё не начатой школьной тетради.

Он ощущал пространство вокруг как глубокий вакуум. Оно было с иголки новым и совсем пустым: отсутствовали ставший уже привычным запах смерти, и плотный шум, с которыми он уже свыкся за последние дни.

Он всё же глубоко вдохнул, прикрыв уставшие от света глаза, и это было, как ночью дома в темноте найти и глотнуть прозрачную чуть загустевшую в морозильнике водку.

«Заканчивается Первое Бардо, — подумал он, — и ты пробуждаешься и понимаешь, что умер».

Он вспомнил продуктовый базарчик, раскинутый по внешнему обводу большой бомбовой воронки на пересечении федерального шоссе и дороги, ведущей из Города, и тень вчерашнего взрыва, лежащую на лице торговки, продавшей ему горячую ржаную лепёшку. Он вспомнил, как она пристально и тупо глядела на него, пока он нашаривал деньги в глубоких карманах куртки.

«Промежуточные состояния», — подумал он.

Эта хреновина ежедневно падает на перекрёсток в одно и то же место, уничтожая, а потом снова и снова воспроизводя этот базарчик и этих людей.

Внутри смежных областей смерти.

Как навсегда поставленный на фиксированное время будильник.

Безотказный «Чьенид Бардо».*

* Чьенид Бардо (Chos-nuid Bar-do) — Второе Бардо. Термин из тибетской «Книги Мёртвых», обозначающий промежуточное состояние ясного сознания, наступающее после завершения Первого Бардо, когда познающий пробуждается и осознает, что умер.

В серебристой лунной мгле

— Всё сущее увековечить... — вспомнил он. —
А на хрена?

Здесь, над пустыми черепами зимних репейников уже соткали свой холст железные машинки, безупречно исполнившие обратное действие...

Бой ушёл далеко вверх, туда, где над скальным разломом в быстро гаснущем небе косо висела половинка луны. И судя по наступившей тишине, закончился во тьме за порогом перевала.

— *Mare tenebrarum*, — прошептал он, внезапно увидев больших красноватых рыб, остервенело штурмующих водопад, беззвучно ревуший по ту сторону глазных яблок. Некоторые из рыб извивались, насадив себя на острые пластины скал, выступающие из кипящей воды.

Он начал осторожно запрокидывать голову назад, одновременно стараясь забросить в сетчатку глаз тусклые, быстро теряющие объём камни на круто обрывающейся в ночь тропе. Он пытался поднять их полупрозрачный отпечаток вверх, совместив его с той частью планеты, которая (вместе с нарастающей болью в позвоночнике) была только жёлтым зеркалом, проецирующим из себя мир этого ущелья.

«Просто — двойная планета, — подумал он, — и ты кровоточащая рыба, пытающаяся пробиться в далёкое лунное море сквозь интерферирующий прибор отражений».

Обетованность мира, в тёмную плоть которого он вдавливал спину и затылок, была только иллюзией, беспомощно трепыхающейся в холодных ладонях Бога. Но эти ладони, начисто лишённые линий жизни, безнадёжно потусторонние, всё же были ближе человеческому телу, чем горы вокруг.

Всего-то и нужно — двигаться вверх внутри светового кипения, чтобы стать той частью мира, которая отделилась.

Бухта Казачья

Время здесь давно и безнадежно остановилось, и только трава, не знающая об этом, настойчиво лезла в стыки плит взлётно-посадочной полосы. Тени чаек скользили по выщербленному бетону. Хриплые крики сверху напоминали ему невнятные переговоры авиадиспетчеров перед заходом борта на посадку. Но полоса оставалась пустой, и ровный тёплый ветер закручивал маленькие смерчи пыли в распахнутых воротах ржавеющих ангаров. Говорить, собственно, было не о чём — крики птиц и настойчивость травы давно ничего не значили.

Для всего этого уже не было слов — он почувствовал, что как-то незаметно оказался по другую сторону говорения, в потоке, растворяющем не только неповоротливые тела высказываний, но и кванты бормотания и крика.

Он лежал рядом с заросшим полынью капони-ром и записывал в блокнот:

*Здесь не возьмёт ясак вершковый Алим-паша,
Хлопает пустотой аэродромный колдун.
Видимо, этот мир перековал Левша,
И спятивший механизм стрекочет: «Кун-дун, Кун-дун».*

«Точат ятаганы для новой атаки», — думал он.

Но даже если она удастся, их боевой опыт не сможет быть засвидетельствован. Разве что травой кермек да выскобленными ветром домиками улиток.

Этнограф

Солнечный ветер дул с моря ровно и постоянно. Казалось, что это тонкая и чистая вибрация окружающего его пространства. Он перевёл взгляд от разбросанных по столу блокнотов с текстами интервью на кромку гор в проёме большого окна.

Здесь, среди этих красот, ему было необходимо максимально уйти в себя, чтобы найти корректную версию, выстроить язык того, что отчаянно сопротивлялось, не желая становиться нужным ему текстом.

«Язык — дом бытия», — вспомнил он.

Но с каким месивом обломков приходится работать внутри этих развалин. Он знал, что жизненные траектории многих из тех, с кем он разговаривал в последние месяцы, уже оборвались. И не записи в полевых дневниках, а искалеченная и обгоревшая плоть, смешанная с зимним щебнем, только она была как-то связана с непрерывно звучащими в его голове гневными выкриками, жалобами и мольбами о помощи, обращёнными неизвестно к кому.

Невыносимым было то, что для его работы — всё это являлось только «фоном», «информационным шумом», уничтожающим — так он думал — саму возможность понимания и, следовательно, опережающего смерть разумного действия.

Он ещё не знал, что попал в место, где его разум уже ничего не значит, в место, где быстрота и точность его восприятия только увеличивает скорость смещений относительно сути событий, и что этот «шум» и есть тот нерастворимый осадок, который наделяет происходящее чёрной благодатью окончательного, но неизбежно ускользающего от фиксации смысла.

«Эпистемологически безупречная позиция», — усмехнулся он, вспомнив, как, вжимаясь спиной в бетонный блок на краю Грозненского трамвайного парка, пытался, сдерживая тошноту, думать о той, непрозрачной для восприятия фактичности, безупречно защищающей и такой же холодной и безнадежной, как железобетон за его спиной, об опыте понятийного описания, который, впервые в его жизни, давал сбой, и — снова давал сбой, и переставал что-либо значить.

«Остаётся атака, — думал он, — не сбор данных в особых условиях, но стратегическая интервенция, отчаянный ночной прорыв в глубоко эшелонированные системы защиты домена смерти. Остаётся только слабый мерцающий свет...»

*Абхазия–Чечня–Дагестан–Москва
1994–2014*

Три встречи

Двойная экспозиция *Акутагава Рюноскэ*

Он, шестнадцатилетний, стоял у книжного стеллажа в маленьком бревенчатом магазине, скорее — лавчонке с пыльным окном, выходящим на дамбу водохранилища.

Несколько месяцев назад совсем рядом с этим местом, в больничном бараке рабочего посёлка строителей Обской ГЭС, превращённом в убежище для безнадежных больных, умерла его мать.

Он увидел эту книгу случайно — серый переплёт и ярко-зелёные, вдавленные в картон буквы: «Акутагава Рюноскэ. Новеллы». Он раскрыл её наугад и сразу же начал читать о человеке, стоящем на верхней ступеньке стремянки книжного магазина в Токио.

Он ещё не очень ориентировался во времени, но вроде бы век был тот же, в котором жил он, только первая четверть. Холодно-отрешённый тон повествования сразу же покорила его, автор был чем-то очень близок ему, может быть, той глубиной отчаянья, в которой жил он после смерти матери.

«Человеческая жизнь не стоит и одной строчки Бодлера».

Он ещё не знал, что доживёт до окончания своего века и даже ненароком получит билет в следующее тысячелетие. А сейчас он находился в верхней части колодца, на дне которого жил автор рассказа. Но — не выше его, потому что стремянка, на которой сто-

ял тот молодой японец, так же, как и он, любивший Чехова и Тургенева, Франса и Ницше, находилась в том месте, где слова «верх» и «низ» не имели смысла. Но всё же опиралась на грязные доски пола в струпьях сурика, на котором стоял он в своих старых баскетбольных кедах.

Вот такой...

Март

Осип Мандельштам

Гнилой мартовской ночью под неярким светом редких звёзд, под одинаковой музыкой из бревенчатых чёрных особняков шёл, поёживаясь от холода, и бормотал:

«Жил Александр Герцович, еврейский музыкант, Он Шуберта наворачивал, как чистый бриллиант».

Был пьян от плохого вина, выпитого без закуски, и, совершая угловатое неловкое движение, видел только свет редких фонарей, пульсирующий в ставах бесконтрольного окраинного пространства.

«И всласть, с утра до вечера, заученную вхруст, одну сонату вечную играл он наизусть».

Незаметно оказался в центре города, где свет строг и холоден, где немые ртутные губы фонарей растянуты на невидимых проволочных каркасах... над площадью, над зданием с колоннадой и всегда освещёнными окнами, над трибуной, где гипсовый вождь делает решительный шаг в пустоту.

«Что, Александр Герцович, на улице темно? Брось, Александр Сердцевич: чего там, всё равно».

Усмехнулся посеревшем в ртутном свете лицом, нащупывая в карманах старого пальто, в шуршащих использованных автобусных билетах последнюю,

не доходящую до рубля мелочь, отрешённо наблюдая плавный ход мокрых машин.

«Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких на саночках за Шубертом летит».

В красном огне витрины, в короткой толкотне в дверях, в липком от чужого дыхания воздухе... У прилавка с трудом нашёл нужные слова:

— Мне консерв, кильки в томате... и хлеба... пожалуйста.

Выходя из гастронома, опять услышал её, но теперь уже не из окон, а откуда-то с неба падала и хрипела, и просачивалась сквозь сырую мглу холодная немеющая мелодия:

«Нам с музыкой-голубою не страшно умереть, а там — вороней шубою на вешалке висеть».

Спустя время проснулся от холода и сырости в подвальной комнате, которую снимал этой зимой, и, преодолевая тошноту, долго вглядывался в мутнеющий, весь в каплях воды, свет за окном.

Внезапно вспомнил, как десять лет назад тринадцатилетним мальчишкой выбежал на берег Обского моря, в скрещённое, словно сверкающие клинки рапир, трёхцветье песка, воды и редких сосен, в солнечный ветер, неслышно летящий над километровой дугой пляжа, намытого только вчера.

«Всё, Александр Герцович, заверчено давно... Брось Александр Скерцович, чего там, всё равно».

Томск. 1970

Три встречи

Памяти Рэя Бредбери

Мне двенадцать лет.

В газетном киоске недалеко от дома на окраине Новосибирска покупаю номер журнала «Искатель» с двумя рассказами. Имя автора мне ничего не говорит. Рассказы называются: «Золотые яблоки солнца» и «Улыбка».

В первом почти всё ясно, и особенно впечатляет загрузка в ракету мороженого и лимонада.

Второй – вызывает недоумение. Какие-то оборванные люди стоят в очереди за плохим (?) кофе. (Кофейный напиток с цикорием, который я с отцом часто пью по утрам, наверное, хороший.)

Потом эти люди разбивают кувалдами легковой автомобиль, чего, как я понимаю, в моём мире не может быть ни при каких обстоятельствах.

Потом они рвут на части картину, и мальчику моего возраста достаётся клочок полотна. Вечером на чердаке хижины он смотрит на то, что ему досталось, и засыпает, обмениваясь улыбкой с Джокондой.

Что-то, очень важное, начинаю соображать, но сформулировать пока не могу.

Мне тринадцать лет.

В книжном магазине на площади Калинина (Новосибирск) я покупаю аппетитно толстую книгу: «Научно-фантастические рассказы американских писателей». М., 1960. «Иностранная литература».

Первый подобный сборник на русском.

Кроме «Детской площадки» и «Камни заговорили» там два шедевра: Томас Теодор «Двое с луны» и Лейнстер «Исследовательский отряд».

Рэя Бредбери я уже узнаю, а «Детская площадка» живо походит на мою повседневность — схватки с местной шпаной и т.д.

В следующем году, после переезда в Дзержинский район, (восточная окраина города с Чкаловским военным заводом, с огромной территории которого взлетают и режут над головами насельников хрущёвских пятиэтажек грязно-серебристые со стреловидным крылом МИГи) приобретаю первое издание «451 по Фарингейту» в очень эффектной мрачной обложке, воспроизводящей сжигаемый лист бумаги.

Читаю, не отрываясь, и внутренний оттиск этого чтения жив до сих пор, и не потускнел за полвека. Всплыл на поверхность он неожиданно — сначала в Сухуми зимой 1992 года, когда я бродил по сожжённой накануне погромщиками из Мхедриони (грузинской национальной гвардии) республиканской библиотеке, а потом в Грозном — зимой 1995 года.

«...Я — мёртвая обугленная коробка со скрученными огнём межэтажными балками и застывшими водопадами битумной смолы в водостоках. С почти невесомыми коконами, хранящими форму книг, на металлических стеллажах библиотеки. Иногда, вслед за порывом ветра, из них с едва слышным шуршанием выпархивают хрупкие пепельные махаоны. Если повезёт, то на брюшке одного из них можно увидеть и прочесть несколько букв. Чуть выпуклых и угольно-чёрных — на сером».

Джером Дэвид Сэлинджер

Пишет: Марк.

Откуда: Филадельфия.

В 1965 году, оформляя том Сэлинджера на русском языке, художник Борис Жутовский пророчески соединил Сэлинджера с ещё мало тогда известным в России а теперь, по общему мнению, самым великим американским художником Эндрю Уайетом (Andrew Wyeth), поместив на фронтоне книги Сэлинджера чёрно-белую репродукцию картины Уайета «Сын Альберта» — думаю, многие из моего поколения помнят этот том. По редкому везению я живу в часе езды от дома Эндрю в пенсильванской деревушке Чадс Форд (Chadds Ford), где в музее «Brandywine River Museum» хранится, пожалуй, его самая большая коллекция картин.

Эндрю Уайет умер во сне в январе 2009 года на 92 году жизни в своём доме в Чадс Форд, из которой за всю свою долгую жизнь он выезжал только на лето в семейный загородный дом на севере в Мэйне и всю свою жизнь рисовал только эти два места и их жителей (одна из заповедей дзен-буддизма, как известно: «Чтобы увидеть что-то новое, нужно ходить по старым тропинкам»).

Спустя ровно год, в январе 2010-го, на 92 году жизни умер во сне Джером Сэлинджер, проживший безвылазно последние 56 лет своей жизни (с 1953 года) в Корнише (Cornish), маленькой деревушке на севере в Нью-Хэмпшире. С конца 1940-х он был страстным последователем дзен-буддизма. Я не нашёл никаких свидетельств того, что они были знакомы лично.

Пишет: Станислав.

Откуда: Москва.

Облик книги с уайетовским мальчиком во всю обложку завораживал тогда, зимой 1965 года, когда я, семнадцатилетний подросток из новосибирского Академгородка, сумел купить её (а это было почти невозможно), приехав на электричке в Бердск. Потом, сколько не пытался, не мог внятно объяснить себе сродство этих двух лиц.

А оно — существовало, активно противясь разъединению. Я думаю, и Колфилд, и сын Альберта, представив уготованную для них (впрочем, и для любого человеческого существа) взрослость, ушли по какой-то старой, забытой теперь почти всеми тропинке времени, никем никогда не понятые. Как никем никогда не понято ничьё отрочество.

Навсегда.

Герман Гессе
(250 кубических метров)

Вернувшись с Первой чеченской зимой 1995 года и сильно нуждаясь в деньгах, я нашёл нехитрую подработку: отправлять в Сибирь знакомому книготорговцу хорошие книжки. Хорошими они назначались по моему усмотрению. Дело со скрипом, но пошло.

«Ну да, — подумал я, заглянув в предпоследнюю страницу лежащего на полу, среди кусков угля, мягкого томика с пирамидой на синей обложке, — множим 20 сантиметров на 13 и на 2, а потом то, что получилось — на пятьсот тысяч».

Итог ошеломил, но я видел его перед собой воочию и, вытащив из серой бумажной стены, уходящей в полумрак, два увесистых «кирпича», получил ступени, по которым забрался наверх.

Потолок оказался совсем рядом, а внизу был главный зал заброшенной кочегарки, которую я с трудом нашёл по выданному мне издательством рисунку. Она была внутри засыпанной снегом производственной зоны на северной окраине Москвы.

Огромный блок — этакая Беальбекская терраса, — выложенный из бумажных пачек, занимал почти всё пространство перед давно остывшими топками, и я подумал, что книгами можно было бы отапливать прилегающие к объекту кирпичные пятиэтажки несколько дней.

Я присел на край «террасы», выложенной из «Сочинений, оставшихся от Иозефа Кнехта», свесил ноги к далёкому плиточному полу, и, вскрыв одну из пачек, уточнил время издания.

Выходило, что лежали они здесь уже три года.

Перелистывая книгу, я наткнулся на стихотворение: «Буквы». Напрягая глаза, прочёл про дикаря, принесшего в жертву огню бумагу с письменами. И, как это со мной часто случалось после контузии, полученной в Грозном, отключился.

Зависший в этой системе координат, я, вроде бы, оказывался «последним умельцем игры в бисер».

Ясен пень, не хватало только бодрого кочегара, который вытянет книгу из моих «дрожящих старческих рук», а через некоторое время принесёт — благородный дикарь — кусок жареного мяса с налипшими на него струпьями пепла. И тогда я в последний раз прочту буквы, чёрные на сером, и, если повезёт, пойму смысл фразы.

Так хорошо отредактированной огнём.

Беловодье 2.0

Наброски к сценарию

Морозные, очень похожие на листья экзотических растений, узоры на глухо замёрзшем оконном стекле.

Затылок мальчика, прислонившегося к нему.

В идеале, это снять так, чтобы ассоциировалось с картиной Эндрю Уайета с обложки русского издания Сэлинджера.

Проталина от дыхания. Звук ритмичных, усиливающих до перекрывающего всё шума, — выдыхов.

Увеличивающийся, растапливающий лёд, кружок. (Внимание, всплытие!) Камера сквозь этот «лаз» проникает наружу, где метель, и прямо перед ней оказывается бетонная стена окраинной девятиэтажки, собственно, фрагмент стены.

За «спиной» камеры весёлый детский голос: «Эй! Что творишь?»

Камера, как бы испуганно вздрагивает, поворачивается. То, что остаётся за спиной, — это пока ещё несостоявшееся пространство, а пацан в развязанной ушанке и стёганой ватной куртке-«телогрейке» (которую тогда носили почти все мальчишки), несёт под ней, пригревая, как замёрзшую птицу, подобранную рядом с обледеневшей колонкой, сгусток своего времени. Камера ныряет в него. Перед нами (тот) бревенчатый дом. Камера наезжает на пацана, проходит насквозь, упирается снаружи в оконное стекло, на котором уже зарастает, на глазах затягиваясь льдом, кружок от дыхания, превращаясь в ледяные (тропические) джунгли.

Камера движется вдоль этой странной улицы на северной окраине Новосибирска. Странность состоит в том, что на одной стороне — две брежневские девятиэтажки — в ряд. Другая — уже уходящие

фундаментами в землю одноэтажные бревенчатые и кирпичные дома, построенные в начале 1950-х годов и раньше.

Дом мальчика построен в 1942 году его дедом. Чем-то всё это походит на непонятным образом ставшую объёмной полоску Мёбиуса.

Несовместимость двух сторон улицы и одновременно несомненное их сосуществование во времени и в пространстве завораживает, как ловкий аттракцион. Впрочем, для мальчика из пятидесятых, до рвоты начитавшегося фантастики на летней крыше деревянного сарая за домом, всё окружающее его абсолютно естественно.

Мы можем совершенно свободно выбрать любую из сторон: бетонную или деревянную. Выберем — дерево.

(Голос за кадром). Морозы в середине последнего века прошлого тысячелетия в Северной Азии были не в пример нынешним. Малое оледенение кончалось, но вело серьёзные арьергардные бои, и мальчику казалось, что фронт проходит прямо по их улице. Но в действительности — это был глубокий тыл. А на далёком Северо-Восточном «фронте» ещё тысячами умирали ээки от холода на лесоповале или в похожих на вывернутые наизнанку ацтекские пирамиды золотоносных карьерах.

А у мальчика дополнительным бонусом, продлевающим жизнь, было чтение книг, и тоже всё про Север.

Мальчик заканчивает строительство снежного дома на заднем дворе. Пятясь, затаскивает туда фанерный посылочный ящик. Камера следует за ним. (Дом «трёхкомнатный» на одного — невыслымаемая роскошь по тем временам). Разгружает ящик на утрамбованный снег. Перевернув, лепит на дно ога-

рок стеариновой свечки. Зажигает и рассматривает похищенные из дома «сокровища».

Колеблющийся огонёк свечи и, в такт дыханию, пар изо рта выхватывает, как живые существа, книжки: «Путешествия и приключения капитана Гаттераса», «Великий санный путь» и — гвоздь программы! — «По следам жертв ледяной пустыни».

На твёрдой серо-зелёной обложке двое полярников проталкивают нарты сквозь пургу.

Рецензии

*Г.Д. Гачев. Осень с Кантом.
Институт философии РАН, 2004*

Книга известного московского философа и культуролога Г.Д. Гачева порождена странным, на первый взгляд, желанием: «заземлить чистую логику, принизить её...»

А так ли уж чист «чистый разум»? — спрашивает исследователь, приступая к скрупулёзному перепро чтению философской «библии» — классического труда Канта. И обнаруживает, что в подспуде логического построения залегает некое исходное видение, образный априоризм, являющий, если взгля деться, национальный образ мира, с ветвящимися проходами к сущностям, на которых покоится его логическое основание.

Провести осень с Кантом — это для Гачева значит вчувствоваться — словно речь идёт не о философской штудии, а о пикнике в переделкинском лесу — в спиртовый запах осенней прели, сопровождающий перелистывание страниц, и при этом суметь описать невидимое тленье души в категориальном листопаде. И, если «язык — дом бытия», то «Критика чистого разума» — дом, который построил Кант, — срублена из брёвен строевого леса, (отнюдь, не из хайдеггеровских holzwege), который, несмотря на кажущуюся универсальную безличность элементов, ветвится в германское небо и одновременно уходит корнями в глубину именно родной материнской почвы, так что в основе «строгих» терминов «точной» науки неизбежно прячется метафора.

И это особенно проступает при сопоставлении немецкого текста и русского перевода, который не

просто с языка на язык, но с одного национального Космо-Психо-Логоса на другой.

И тогда аутентичное прочтение книги — именно то, что получилось у автора: перевод её на язык дневника жизни и размышления, и напряжённый диалог. Там, внутри.

Александр Неклесса.

Люди воздуха, или кто строит мир?

Москва: Институт экономических стратегий, 2005.

Серия: Стратегическая матрица

«Есть такой рукотворный предмет, „китайский шар“ — шар в шаре и так далее: всего пять уменьшающихся шаров, расположенных один внутри другого...»

Книга Александра Неклессы посвящена активному представлению будущего — дизайну той социокультурной революции, отмеченной чертами постмодернистского спектакля и прагматичного технологизма, которая разворачивается сейчас на нашей планете.

Её сюжеты — это становление нового интеллектуального класса — «людей воздуха», претендующих на властные позиции в обществе; революция корпораций, выстраивающая собственные инновационные пространства в сетях транснационального космоса; радикальная модификация социальных и культурных прописей уходящей в прошлое эпохи Большого Модерна.

Сегодня мы живём в тени постсовременности, которую отбрасывают парящие над поверхностью нашего многострадального геоконата острова новых лапутян, лишаящие нас многих привычных вещей, но, прежде всего, возможности навигации.

«Куда ж нам плыть?»

Предугадывая причудливые изгибы и изломы исторического пути России в Новом мире, автор осваивает открывшееся пространство новизны, как концептуальный разведчик Квази-Севера, заброшенный в «сумеречную зону», кажется, прямо из «Саги о прогрессорах» и, «выявляя бродячих призраков-мутантов иноположенных миров, лишает их анонимности, прочерчивая, — в своём полевом отчёте — почти что эшеровскую картографию грядущих перемен».

Тень Стругацких незримо витает над этим текстом, делая его чтение таким же захватывающим, как первое знакомство с «Градом обречённым» или «Обитаемым островом», впрочем, на мой взгляд — его книга о том же.

Из сопровождающей это путешествие на край надвигающейся глобальной ночи «сумятицы эскизов, мазков, зарубок» он выстраивает архитектуру «психологически невероятного, однако социологически вполне возможного положения дел» на нашей планете.

Автор заставляет услышать голос пространства, заполненного «хорошо темперированным хаосом и лунатическим бытием». Где рушащиеся «сестрички» доносят до нас не грохот «столкновения цивилизаций» и не проклятия акторов отчаянного и бесплодного бунта «навечно опоздавших» против олицетворяемого США мирового авангарда, а шум схватки «дряхлеющих форм власти, принадлежащих меркнущему дню Модерна», с гостями из «сумеречной зоны», из ближнего будущего нашей цивилизации».

Пауль Целан.
Материалы. Исследования. Воспоминания.
Том 1. Диалоги и переключки.
Москва–Иерусалим: Мосты культуры, 2004

Перед нами первый том материалов и исследований о Пауле Целане (1920–1970) – крупнейшем немецкоязычном лирике послевоенного периода, известном также как переводчик, в частности, русских поэтов: Мандельштама, Хлебникова, Блока и других.

Творчество и жизнь Целана – часть трагической истории XX столетия, галактика, вращающаяся вокруг лично пережитого поэтом чёрного ядра Холокоста, и, одновременно, лишённый жёстких временных рамок поэтический мир, полный разноцветного европейского многоголосья разных эпох, сопряжённого со средневековой еврейской мистикой и современной философией.

Родившийся на краю только что распавшейся Австро-Венгерской империи, в городе Черновицы – центре многоязычного поликонфессионального иерархического сообщества, где «немецкая культура Центральной Европы лежала как прозрачный покров поверх плодоносящих слоёв местных культур: еврейской, румынской, польской и рутенской», став жителем одной из её бывших окраин – королевской Румынии, – в 1940 году аннексированной Советским Союзом, а в 1941 – Третьим рейхом, чудом избежавший депортации в Сибирь и потерявший родителей, убитых в румынском лагере уничтожения; в конце войны работающий санитаром психиатрической больницы, чтобы не быть призванным в антисемитский Польский легион, нелегально перешедший румынско-венгерскую границу в декабре 1947 года, издавший в Вене первый поэтический

сборник в 1948 году, через десятилетие – ведущий семинары по германистике в Ecole Normale, а ещё через десятилетие – покончивший с собой, вернувшись в Париж из поездки в Германию, Пауль Целан, кажется, завершил своим творчеством (и жизнью) линию нового европейского гуманизма, мучительно ищущего собственную идентичность на краю небытия, там, где биография измеряется «длительностью прыжка над пропастью, разверзшейся в сущем», а цена высказывания – разрывом аорты.

Предлагаемое издание включает в себя как уже публиковавшиеся статьи, впервые переведённые на русский язык, так и новые исследования и материалы. Оно должно стать своего рода путеводителем по творчеству поэта, помочь читателю в освоении его сложных поэтических кодов. Этот том посвящён принципу диалогичности у Целана, его связям с русской поэзией и с еврейскими источниками. Под этим углом зрения рассматриваются и биографические материалы.

Иштван Бибо

Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года.

М.: Три квадрата, 2005

«С 1941 по 1945 год – в трудовых ротах, в результате карательных акций, в ходе депортации в лагеря смерти и вследствие нацистского террора – погибло более полумиллиона венгерских евреев».

Публицист и обществовед Иштван Бибо – один из оригинальных европейских мыслителей XX века, в своём исследовании взялся внятно «произнести нечто всегда недоговариваемое» о Катастрофе.

«Недоговариваемость», а, точнее, «непроговариваемость» темы коренится не в дефекте речевого аппарата высказывающегося, хотя «заикание» и речевые спазмы здесь вполне объяснимы, но в необходимости вести речь «через безумие нерешаемого и невозможного», скрупулезно, пунктуально и дотошно картируя хронотоп «низших областей смерти» (Ф. Кафка), этот «кровотокающий вихрь времени» (образ из стихов Миклоша Родноти — венгерского поэта, убитого осенью 1944 года) дующий сквозь неменяемое пространство, залитое фосфорическим светом, распадающихся духа и плоти.

Исследуя тёмные времена своей родины, тогда ещё обжигающую (книга впервые издана в 1948 году) лаву страхов, предубеждений, массовых психозов и истерий, он приходит к неутешительному итогу: большинство венгерского народа причастно к массовой гибели венгерских евреев.

Эта причастность варьировалась в широком диапазоне: от безразличия и отказа в предоставлении убежища до выдачи гонимого, и прямого соучастия в его убийстве. Вину и ответственность, так или иначе, разделяют все — государство, законодатели, венгерское общество в целом и различные его фракции, в том числе — венгерская интеллигенция. Исключения редки и нерепрезентативны. Этот вывод даётся автору с некоторым усилием, но, тем не менее, он однозначен.

Понятия, отражённые в таких названиях глав, как: «Наша ответственность за произошедшее», «Причины морального краха общества», у Бибо становятся не просто констатацией факта или призывом к покаянию, но тщательным исследованием анатомии явления, своего рода национальной идеей — формулирует задачу «Еврейского вопроса

в Венгрии» автор предисловия к книге Сергей Ми-
турич, но он же замечает:

«Тема ксенофобии „не знает границ“, она
вполне актуальна и в нашем отечестве, а накал
антисеметизма в некоторые периоды новейшей
истории России так и остался без достаточно
внятного общественного комментария».

Следует добавить, что деконструкция этого бло-
ка «постсовременности» ещё ждёт своих исследова-
телей — хорошо, если бы только их.

Ольга Седакова
Два путешествия.
М.: Логос, 2005

Современная путешественница, в движении осва-
ивающая не только окружающий пейзаж, но и собст-
венное внутреннее пространство, приглашает чита-
теля соучаствовать в постижении культурно-времен-
ной особенности местностей, пересекаемых ею.

Сюжет движения по траектории: Тарту–Печоры
Псковские в 1998 году требует от вдумчивого попут-
чика самого себя особого искусства, своеобразного
сталкинга, состоящего в балансировании между
внешним и внутренним содержаниями (которое
и составляет механизм перемещения) — между
умо-зрением и оче-видностью. Задачей описания
в этом случае становится увязывание собственного
ментального кода с пространственно-временным.
В итоге — главным становится сам текст.

Собственно, перед нами типичный случай «рус-
ского путешественника», для которого даже длитель-
ное движение не самодостаточно, и не предоставляет
смутно чаемой возможности побега: наиболее стро-

го охраняемые границы оказываются всегда внутри. Отсюда возникает характерная для мифа сосредоточенная замкнутость, обязательное возвращение к исходной точке. Текст, таким образом, становится итогом борьбы с топографической безысходностью пространства, как такового, и русского хронотопа, как предельной реализации этой посылки.

И именно там, внутри, оторвано, бежит поперёк текста и заснеженного зимника останавливающий сани с Поэтом судьбоносный заяц, меняющий возможное радикальное действие: «Я — могу» на меланхолический вздох: «И я бы мог...»

А дальше нашему путешественнику только и остаётся, что соучастие в обустройстве внутреннего распорядка на территории осваиваемой зоны дискурса. Где единственной наградой за усилие внутреннего сжатия — дрожжевой рост вовне.

Вот обо всем этом книжечка Ольги Седаковой — соучастницы в движении лотмановского сюжета русской культуры.

*Арон Шнеер.
Из НКВД в SS и обратно
(Записки штурмбанфюрера).
М.: Параллели, 2005*

Герой книги — советский разведчик, с 1938 по 1944 годы носивший мундир офицера SS, прошедший польскую и французскую компании 1939–1940 годов, принимавший участие в последней наступательной операции Вермахта в Арденнах в декабре 1944 года.

В 1945–1947 годах — он уполномоченный Советской миссии по репатриации во Франции, затем резидент ГРУ в Бельгии.

Спустя несколько десятилетий, на закате жизни героя, автор книги встречается и беседует с ним в Иерусалиме, в маленькой квартирке в старом районе города.

Два зеркала установлены друг против друга, и изображение в них, неизбежно, двоится. А, может быть, — это только сквозняк, состоящий из квантов времени и колеблющий пламя свечи.

Левая рука тьмы не встречает хуком снизу правую руку света, но дружески пожимает её.

И, тогда, единственно значимыми оказываются фронтовая дружба, и «те ребята, друзья моих военных дней», и самые главные слова, сказанные другу во фронтовых землянках под ледяной шнапс или водку на ставшем родным верхнерейнском, когда во чтобы то ни стало нужно сразу забыть: как оно было там, возле уже почти заполненного телами расстрельного рва.

И как-то всё равно кто скажет их, эти слова: штурмбанфюрер SS или майор НКВД, или: два в одном — они всегда всё о том же: родине, партии, любимой девушке...

Автор книги — сотрудник Национального центра памяти жертв Холокоста: «Яд Вашем» (Израиль).

к плодотворному, насыщенному смыслами инобытию. Речь идёт о своего рода сакральной практике, забытом искусстве овладения духом места, и наделяющим способностью со-существования в едином с ним ритме.

Кто-то точит балясы,
Ну а мы, молчуны,
Умножаем запасы
Мировой тишины.

Его зелёная субмарина плывёт недалеко от хвойного дна мира у подножия сосновых стволов, как сквозь регистры большого органа, и зависает, запутавшись в напрягшейся, дрожащей паутине заката.

Мой любимый, густой
Невероятный свет
Помоги, золотой.
Не поможет. Нет.

...Я всё повторяю строки тимирязевского Торо, в долгих пеших прогулках собравшего для нас «случайные», «бродячие» звуки, отражённые от чёрных стволов, гаснущие, уходящие друг в друга... Рождённые внутри деревьев и вброшенные в его строку тяжёлой беззвучно гудящей центрифугой их годовых колец.

Были костры ночные
На границе весны и
Лета, у их слиянья
В эту пору бывали
Странные состоянья.

«Странные состоянья» — подвижная, вибрирующая, почти прозрачная граница языка прикасается к огню, дереву, снегу, коричневой хвое под ногами, проникая в них, чтобы они проникли в него. Незаметно ты соскальзываешь, как в детской книжке: «Плутония», с внешней поверхности планеты на внутреннюю, движешься вдоль ощущаемой только тобой изотермы, потому что там, внутри, проход к тому, что находится за пределами слов: «Облако», «Ветер», «Сосна», «Хвоя».

А потом, если хватит усилия и дыхания, нужно двинуться назад и вниз, сквозь затянутый травой склон —

«к тому нечто, к тому ему или ей, кто остаётся там — убереги, спаси, оставь это имя».

«Валера... мы с Мишей... Я... спускаюсь с нашей горы, теперь затянутой травой даже по крутым обрывистым местам. Когда-то песчаный обрыв был прошит гнёздами стрижей. Почему птицы покинули берег? Бог знает... но вот столбы горячего воздуха среди обычного... пространства остались...»

2007

Избранные стихи

* * *

Островные созвездья над морем холодным дрожат,
И осенний туман твоих стынущих рук холодней.
Десять тысяч ночей отмотал ты в ночных сторожах,
И прожил десять тысяч судьбою отмеренных дней.

Что за странная эта (никак не взглядеться) тропа.
Через три поколения — всё вьётся, куда — не понять.
Чтобы полякам этим в сибирских болотах пропасть,
Чтобы этим евреям в воздушные ямы слинять.

*Сентябрь–октябрь. 1987.
Сахалин. Посёлок Взморье*

«Nomina astrorum odioza sunt»

Время-спецназ зачистило мой материк.
Лысый бард на гуслях не сбацает: трень да брынь.
Соль разъедает голову изнутри —
Вовне — Азия, дикое мясо, звезда — Полынь.

Сядь на корабль, и курс прочерти по дну,
Да, не теряйся, в камбузе пошукай,
Вспомни о том, как когда-то любил одну,
Вверх погляди — там декабрь и ползёт шуга.

Вспомни, как ей бормотал что-то про «вечный бой»,
Звёзды колючие вспомни над Городком.
Крепче вцепись в штурвал, задроченный Cabin boy,
Хлеба ломоть запей молока глотком.

Съела свинья и Бог дурака не спас,
Кончилось время — что-то не кончен путь.
Всё же засмейся и за борт швырни компас.
Звёзд имена, как Н.Ф. учил, позабудь.

2003

След мышки — застёжка-молния на пуховике зимы.
Долина в Северной Азии, где в детстве бродили мы.

Погнался за странной тенью и впрыгнул в пустой экран.
Вгляделся: и я и отрок — пылинок цветных игра.

Последний сеанс в киношке — фильм не крутнуть назад.
Икру отметили кванты — выключён аппарат.

По снежной тропе с ребёнком бреду
сквозь закатный свет.
А сосна нарастила мускулы, и ствол её разогрет.

2005

Родина — горький дым в самом конце пути.
После — ничем не пахнувший окаменевший след.
Войску кузнечиков-янычар здесь не пройти,
И ВПП замечает вчерашний снег.

Здесь не возьмёт ясак вершковый Алим-паша.
Хлопает пустотой аэродромный колдун.
Видимо, этот мир перековал Левша,
И спятивший механизм стрекочет: «Кун-дун, Кун-дун».

Неба сухой наждак, белая кость стебля,
И трилобит на ней — палеозоя весть.
Ветер, как Демосфен, тужится выдохнуть: «Бля!»
Больше здесь никому нечего произнести.

Запах травы кермек к вечеру нестерпим,
Как поворот плеча той, что рвала её.
Вот и жизнь домолол в этой чужой степи,
В ступке смешав полынь, крылья цикад и мёд.

*Севастополь.
Бухта Казачья. 2005*

И в усмешке вождя, и в неловкой ухмылке монаха
Ясно видишь конец.
В мокрый снег ассирийское слово «блянаху»
Упакует бегущий юнец.

И такая тоска, что куды там ордынское иго,
Вся кремлёвская рать!
Что, «Сын века», беззубый щелкунчик, задрыга —
Скоро околевать?

И уйдёшь, как сорвавшись с крутого державного хера,
В забалконную муть.
Перечти-ка дружок предпоследний абзац «Холстомера»,
Перечти и... — забудь.

2007

Воспоминание о шестидесятих

1

Итак, пора положить в рюкзак
Томик Мацуо Басё
И, сбросив с весов все против и за,
Шагнуть сквозь ничто и всё.

И долго брести вдоль чёрной воды
Под шорох чужих лесов.
А смех твой — только пепел звезды,
Падающий на песок.

2

«Оставь лагуну, выкинься на берег...»
Из ранних стихов Руслана Дериглазова

Реальность помножена на трансцендентность,
И давит на плечи рюкзак со стихами,
А мир так распахнут, что некуда деться,
В себя по себе без страховки спускаюсь.

Я нищ и бездомен, а мир — неприютен,
Лагуна оставлена. Берег безмолвен.
И плещутся волны в разбитой каюте
Моей головы — океанские волны.

Всё это закончится психбольницей
В Сибирском Чикаго, задушенным снегом.
На тумбочке книга, в ней — чёрные птицы,
И нет никого, кто поможет побегу.

2007

* * *

Ледяную слезу со щеки сотри —
Это с Севера дует — защурь глаза.
Снег забил кюветку долины — ту, что внутри.
В ту, что — снаружи, не вступишь. Иди назад.
И не бойся ночи: сюда не доходит свет.
Словно в горле кость, остаток дороги той.

Опрокинутый ковш Медведицы, давний бред.
Подожди! Замолви словечко! Окликни! Стой!

* * *

Смерть — это мастер германский,
Он псами затравит нас,
В воздухе вырыв могилу.

Пауль Целан

Опустевший Дахау.¹ Лето. 39-й год.
Разлиновано небо колючкой, но ещё не время писать,
Камерадку Корхереру² свой годовой отчёт:
Мойша, Руфь, Даниил, Шифра, Исай, Исаак...
А изгнание — ещё не смерть, и нет ещё тех печей.

¹ Летом 1939 года еврейские заключённые лагеря Дахау (около 5000) были за выкуп и с обязательством покинуть Германию отпущены на свободу.

² Рихард Корхерер — главный статистик SS, к январю 1942 года, подавший отчёт об 1 млн 250 тысячах убитых в ходе «Окончательного решения...»

Ты прислушайся к долгову «UR» —
из Фрайбурга шепоток³
Разъяснит тебе, как в «Ничто» утечёт ручей,
Размывающий плоть, что в каверне Платона его исток.

Опусти в ложбинку нёба язык, а воздух — вперёд толкни,
Изначальность суха на вкус, как мёртвая чешуя.
И слюну не катай во рту, ты её сглотни,
Поперхнувшись белой косточкой чужого небытия.

А она бредёт на восток, и город её в дыму.⁴
Повезёт — и родиться мне через шесть годков.

В горной хижине спит германский мастер,
и никогда никому
Не узнать цвет платья школьницы той
и форму её башмаков.

³ Фрайбургские лекции Хайдеггера. Приставка «ig» («изначальный, первичный, первобытный»). Нужно расколдовать мир «губительно инфицированный теоретическим началом». Он называет это «Entleben» — обезжизнение.

⁴ Моя мама, в девичестве — Шифра Менделевна Проровнер (1924–1964). Школьница выпускного класса в г. Нежине (Украина). Вместе со своим классом осенью 1941 года по лесам выходила из окружения. Умерла от туберкулеза лёгких и горла в Новосибирске, в больничном бараке в районе шлюзов.

Мне хотелось бы ещё раз
Ни о чём...

О.М.

Ты так прозрачен и пуст
Мой лес на исходе дня,
Что облачком пара с уст
Слетает: «Укрой меня!»

Ведь только с тобой вдвоём
Меня возьмут на постой
В тот странноприимный дом,
Повисший над пустотой.

Там воздух холоден, жгуч
В осколках далёких сфер.
Есть там постоялец — луч
Звезды, что нашёл Лефевр¹.

Он скажет: «Звёздную соль
В горбушку вотри скорей,
И — слушай: до, ми, фа, соль,
И — вникни: соль, ля, си, до, ре».

Но я не пойму тех слов.
И тихо скажу: «Мне б лечь.

¹ Звезда Лефевра — разумный магнитный плазмод — SS433. Звезда-гигант и необычно маленький компактный объект рядом с ней. Этот объект вытягивает из голубой звезды вещество, питается им и выбрасывает в двух противоположных направлениях с огромными скоростями тонкие струи газа. Спектры звезды соответствуют мелодии из 9 нот: «до, ми, фа, соль, соль, ля, си, до, ре».

Быть может, в долине снов
Твою разберу я речь».

И поздно теперь корить
Себя, что не стал лучом,
И не с кем поговорить,
Как водится, ни о чём.

2008

* * *

Ты думаешь, нанизывая слово, а после — ещё одно,
На верёвку висельника, как бусины на шнурок,
Что разбухшее в бурой холодной земле зерно
Знает, когда зелёную молнию выпустить — срок.

Но перед чем, или кем твоё падение ниц,
Вдоль ствола, где зарубки — отметины убитых лет.
А небесный снайпер, он выше тех,
висящих над полем птиц,
Но стреляет без промаха — не успеешь выдохнуть: «Нет!»

2014

Урсула Ле Гуин

ФОНТАНЫ

Из «Сказаний Орсинии»

Поручая ему это дело, они знали, что доктор Кереш попытается просить политическое убежище в Париже. Поэтому в самолёте, летящем на Запад, в отеле, на улицах, при встречах с кем-либо, даже просто читая газету, он всё время ощущал присутствие невидимых наблюдателей, которыми могли оказаться и слушатели летнего семестра, и кроатские микробиологи: кто угодно из безымянной и безликой толпы, всегда окружавшей его с тех пор, как деятельность Кереша не только привлекла внимание к делегации его страны, но и, несомненно, прославила её правительство: ведь это МЫ, МЫ отпустили его — они хотели, чтобы он присутствовал здесь, но они же и не спускали с него глаз.

В его небольшой стране человек мог уйти от наблюдения только совсем замерев — спрятав голос, сжав тело в комок, совсем заглушив мысли. Он-то сам всегда был под колпаком — «выдающийся человек»! Теперь всё так и шло своим чередом, пока на шестой день не состоялась эта поездка с гидом; необычайно солнечным днём он впервые обрёл себя и даже смутился вначале. Только сделав несколько шагов по дорожке, ведущей куда-то вниз, он ощутил, что свободен.

А случилось это в очень странном месте. Одинокий, угрюмый, заброшенный дом стоял позади него, весь облитый золотом в золотом свете полуденного солнца. Тысяча разноцветных фигурок мелькали на террасе перед ним, а дальше, в каналах, струилась бледно-голубая вода, убегая прямо в прозрачные

дали сентября. Лужайки замыкались стофутowymi свечами каштанов, благородных, мрачных, горящих ясным нетленным светом. Они прогуливались в тени деревьев, по королевским дорожкам для чтения, но вскоре гид повёл их обратно к светящимся зелёным полянам и мрамору под ногами. И внезапно прямо перед ними, искрясь на солнце и взлетая в воздух, забили струи фонтанов.

Они прыгали и пели, светясь над своими мраморными бассейнами. И прелестные, укромные покои дворца, громадного, как город, в котором никто не живёт, и благородная безмятежность деревьев, единственных обитателей сада, слишком большого для людей, и господство осени, и ушедшего без возврата времени — всё это было соразмерно бегу воды. Глохли искусственно отчётливые голоса гидов; глаза, подобные фотообъективам, были неподвижны. А фонтаны рвались к небу и обрушивались вниз, и струи их смывали саму смерть. Они управились в сорок минут, а потом всё кончилось. Только монархи могли повелевать двигаться и вечно жить Великим Фонтанам Версаля. Республиканцы должны знать своё место. Подобно вот этим белым, падающим в воздухе, изломанным струям.

Постепенно чернели груди бесстрастно замерших в беге мраморных нимф, распятые пасти речных божеств. Мощный гул напряжённой и падающей вниз воды переходил в отдалённый грохот и на мгновение оставлял каждого наедине с самим собой. Адам Кереш отвернулся и ступил на тропу, уходящую вниз с мраморных террас под деревья. Никто не последовал за ним, и в этот момент он, словно бы потерял что-то, хотя сам об этом и не подозревал.

Мягкие лучи послеполуденного солнца потянулись вниз, и он увидел юношу и девушку, скользящих

над травой в чередовании света и тени. Идя обратно, Адам Кереш погрузился в себя, и слёзы бежали по его щекам. Теперь тени густели сзади него, и когда он оглянулся, то не увидел ни дорожки, ни влюблённых, только пустынный и нежный гаснущий свет и где-то в самой глубине перспективы множество маленьких шарообразных деревьев в кадках. Он поднялся на террасу над оранжереей. К югу с этой высоты был виден только лес — необъятные галльские дебри в коконе осеннего вечера. Но не пели рога, загоня волка или дикого медведя на королевской охоте. Ушло время этой великой забавы. По единственной тропе через лес проберутся только молодые влюблённые, которые выехали из Парижа на автобусе, чтобы раствориться, исчезнуть среди деревьев.

Бесцельно, не сознавая, что ему чего-то недостаёт, Кереш побрёл назад вдоль широких аллей по направлению к дворцу, который стоял сейчас в бледном свете, уже не золотой, а обесцвеченный сумерками, как морская пена на берегу, когда последние купальщики уже ушли.

Издали этот звук походил на тихое ворчание прибора — звук моторов туристских автобусов, возвращающихся в Париж. Кереш ещё немного помедлил. Несколько человек торопливо бежали к террасе под опавшими фонтанами. Женщина звала ребёнка голосом, заунывным, как крик чайки. Кереш повернулся и, не оглядываясь, напрягшись, как человек, который только что украл ананас, кошелёк, булку у продавца и спрятал её под пальто, широко зашагал в темноту между деревьями.

— Это моё, — сказал он громко, обращаясь к высоким каштанам и дубам, как вор, пойманный с поличным. «Это моё!»

Как истинные французские аристократы, они не снизошли до ответа на его жёсткий республиканский вызов, высказанный на чужом для них языке. Но всё же темнота под их кронами, молчание, стившийся сумрак всего леса укрыли беглеца.

Он не пробыл долго в лощине, только час или меньше, там были ворота, запирающиеся на ночь, и он боялся остаться внутри. Просто уже незачем было оставаться здесь. Задолго до наступления ночи он вышел на террасу и, шагая напряжённо и осторожно, словно король или клептоман, обошёл вокруг огромного, белеющего в темноте многооконного здания, подобного морскому утёсу, и пересёк мостовую, теперь похожую на берег моря, усыпанный булыжником. Оставался один автобус, голубой, а не серый, как он опасался. А тот, на котором его привезли сюда, словно бы растворился в море, исчез вместе с гидом, глупыми коллегами, провинциалами, микробиологами, стукачами. Ушёл и оставил его владельцем Версаля. Луи XIV восседал на громадной лошади, внятно утверждая существование абсолютных привилегий. Кереш взглянул вверх, на бронзовое лицо, большой бурбонский нос, как ребёнок смотрит на своего старшего брата, с обожанием и насмешкой. Он прошёл через ворота, и в кафе по ту сторону Парижского шоссе ему подали вермут на грязный зелёный стол под сикиморой. Ветер ночи и осени дул с юга, из лесов, тоже чуть горьковатый, как вермут, и нёс собой аромат прелой листвы.

Свободный человек, он выбрал свой собственный путь и своё собственное время. На пригородной станции он купил свой собственный билет и сам вернулся в Париж. Никто не знал, где он вышел из метро, возможно, и он сам тоже, никто не знал, где и сколько бродил он, подчиняясь своему настроению.

К одиннадцати он стоял у парапета Сольферино Бридж, невысокий сорокасемилетний человек в поношенном костюме, свободный человек! Он смотрел на огни моста и на отражения огней, трепетавшие в чёрной, быстро бегущей воде. На другом берегу реки, вверх и вниз по течению, были убежища: резиденция правительства Франции, посольства Америки и Англии. Он прошёл мимо каждого из них. Возможно, что было уже слишком поздно, чтобы постучаться в их двери. Стоя на середине моста между Левым и Правым берегом, он думал: не осталось мест, где можно укрыться. Кончилось время тронов; затравлены волки и кабаны, умолкли рога королевской охоты; вымерли даже африканские львы. Осталось только одно спасительное место на земле — зверинец.

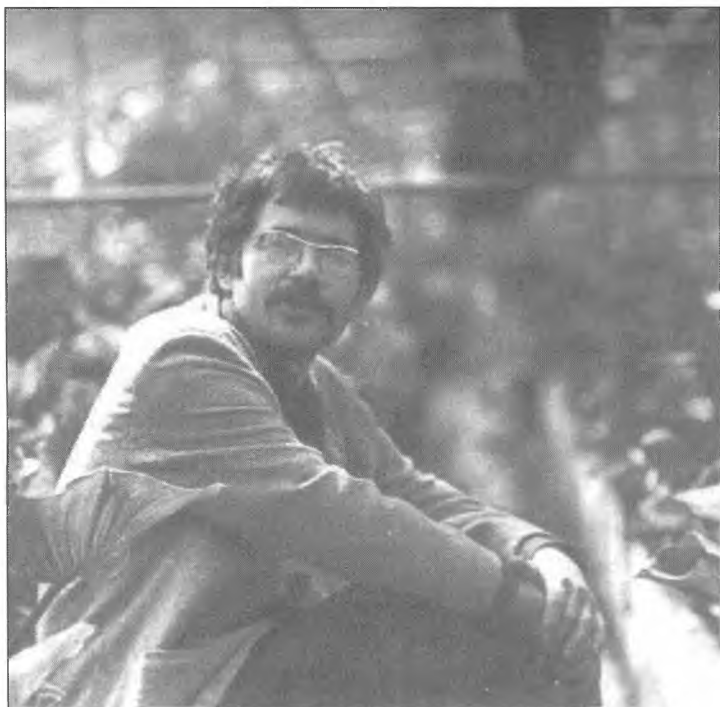
Но он никогда не заботился о самосохранении, и сейчас он подумал, что никогда не заботился и об укрытии, мечтая о чём-нибудь лучшем: своей семье, своих потомках. Здесь он бродил по саду, большому, чем жизнь, по тропинкам, где задолго до него прошли его старшие братья. После этого он не мог выдержать вольер. Он пошёл через мост, под тёмные арки Лувра, возвращаясь в свой отель. Он знал теперь, что он был и королём, и вором, и, следовательно, его дом был везде, но верность требовала избрать свою землю. Куда же ещё идти человеку в эти дни. По-королевски широким шагом он прошёл мимо агента секретной полиции в вестибюле отеля, пряча под пальто краденые восхитительные фонтаны.

1960

Перевод: Лика Божко, Станислав Божко. 1986

Николай Серебрянников

Пресловутая теплица



С.В. Божко, инициатор создания и лидер томского полулегального нонконформистского формирования «Теплица» (1974–1980). Снимок сделан в 1978 году на фоне томской теплицы. Здесь собирались представители инакомыслящей интеллигенции, среди которых было немало молодых людей.

Одна из теплиц РСУ зелёного строительства города Томска располагалась на задах цеха кондитерской фабрики — в двух минутах ходьбы от почтамта. Уголок, зажатый зданиями, сараями, гаражами летом живо напоминал захламлённую и заболоченную зону из «Сталкера», а зимними вечерами теплица сияла среди сугробов, как некий оазис.

В 1973–1980 годах она стала для многих оазисом и в переносном смысле. Своему обойти её было нельзя: здесь, в центре города, знакомые могли скоротать часок или всю ночь за чаем или коньяком, отжаться вольномыслию на гуманитарные темы, послушать «Немецкую волну», почитать почти свежий самиздат.

Лицом и душой теплицы был социолог Станислав Божко, ночной сторож, латавший свой бюджет на бесчисленных строительных калымах. Сторожем числилась и его жена, филолог Галина Лащук. Потом одну из ставок они уступили поэту и журналисту Володе Крюкову, некоторое время на ней держался физик Борис Сенкевич, а в 1977 году он уехал, и на его место пришёл я.

Все знали: теплица находится под приглядом ГБ. Никого не удивляло ни это, ни то, что госбезопасность так долго терпит читающих–печатающих самиздат. К странному, всё вынюхивающим визитёрам относились насмешливо. Сестру Крюкова знакомые ей гэбисты открыто предупреждали: «Скажите брату, чтоб с теплицей завязывал, может плохо кончиться». Патриархальные, провинциальные картинки!

Я тихо возмущался: зачем ГБ нужны эти ребята, даже не помышляющие о каком-либо творческом акте?

Стас же иногда говаривал: «Да, придёт маленький-плюгавенький, снимет кепочку и скажет: здрав-

стуйте, я ваш п...ц». Но госбезопасность жила своими соображениями.

Моё случайное знакомство с Сахаровым не связано с теплицей, хотя сильно на ней отразилось. Сперва оно отозвалось весьма оригинальным запугиванием, — вызывали со службы и поднимали с постели моих давних полузабытых приятелей или знакомых моих знакомых и спрашивали: «Где Серебренников, почему прячется?»

Я ходил на работу, в университет, и время от времени натывался на встревоженные лица: «Почему прячешься?» Если надо было идти в КГБ выяснить недоразумение, то серию нервных шоков они провели впустую.

Вечером 2 ноября 1977 Божко позвонил в теплицу и сказал, что останется дома. За полночь появились двое, заломили мне руку за спину, избили и удалились. Не взяли ни часы, ни радиоприёмник, ни цветочек на память. Потом врач Леонид Погоцкий насчитал на мне свыше полутора десятков кровоподтёков. Сообщили Сахарову и — вот чудо! — следующие два года ГБ почти не давала знать о себе.

Количество, как известно, переходит в качество. Ворох прочитанного самиздата взывал к иным формам общения. Весной 1979 года Божко положил начало философским семинарам. Я планировал культурологический сборник, но никто ни строчки не написал. Организовали несколько литературных вечеров друзей-поэтов.

«Теплица была микроостровом, микромятежом. Свободная территория, выпадающая за рамки коммунистического строительства, как бы уникальная подпольная комната в этом гигантском общем доме».

Станислав Божко

В конце года горничная московской гостиницы, где жил Погоцкий, нашла в его тумбочке «Вестник РХД», «Кто сумасшедший?» Жореса Медведева, воспоминания Надежды Мандельштам и сдала в КГБ.

Погодский объявил чекистам: имею право читать, что хочу. Его отпустили, а в Томске за теплицей установили плотное наблюдение. Чтоб не слишком возиться при будущем обыске, на дверь в самую оранжерею повесили замок, и нам пришлось проникать туда из бытовки — по кактусам. Наиболее криминальный самиздат Божко закопал за стеллажами, но... «если очень хочется, то — можно», и мало-помалу литература снова пошла в народ.

В январе 1980 года доцент филфака Александр Казаркин, Божко и я устроили в университете мандельштамовский вечер, по нашим меркам — весьма тускловатый, но и он шокировал кое-кого из тамошних литераторов, а из пединститута потом звонили Александру Петровичу и говорили:

— Вы, слышать, провели страшный антисоветский вечер Мандельштама. Нельзя ли у нас повторить?

Возможно, ссылка Сахарова ускорила томские события. 15 февраля госбезопасность запустила «тепличное дело» в производство.

Вероятно, с этого времени мой школьный друг Юрий Заиграев стал сотрудничать с КГБ: днём 1 апреля, когда допросы только раскипелись, мне предъявили его объёмные показания с особенно дотошным описанием последних месяцев.

Официальным поводом считалось то, что главный инженер РСУ Ерёменко обнаружил чемодан с самиздатом, — шутка для дураков, найти просто так его было невозможно, человека явно вынудили написать донос.

1 апреля 1980 года одновременно в Томске, Новосибирске и Кемерове провели ряд многочасовых допросов, бригада гэбистов обшарила теплицу, попластунски пройдясь под стеллажами, но нашла только безобидные конспекты Божко, безобидный самиздат, да из подсобки забрали часть моего архива. Работницам заявили:

— Сторожей больше не ждите, не вернутся.

Вечером обыскали квартиры Кенделя, Крюкова и мою, однако опять мало чем поживились. Широкий круг знакомств сыграл хорошую роль — почти вся литература находилась у третьих-четвёртых лиц, и спустя годы на процессе Чернышёва кое-что из неё всплыло как распечатки неизвестного происхождения, а кое-что к нам возвратилось из самых неожиданных мест. Воистину: что отдал — то твоё.

Квартиры осматривали поверхностно, а Божко, хранившего негативы, не обыскали вовсе.

Один из трудившихся у меня, читая мои стихи, молча положил обратно листок со строчками: «Ляжет в Кремле больной летальный и ждёт анализа мочи».

Единственная неприятность — жвачка, плюнутая на полированный стол (а ведь в 1973 бригада ГБ под руководством майора Челнокова располосовала у меня крест-накрест дерматиновую обшивку двери!).

Солженицын прав: «Страна должна знать своих стукачей».

Старый товарищ Божко этнограф Измаил Гемуев (ныне известный специалистам книгами о народах Сибири), постоянно пропадая в теплице, тешился, как натравит на нас своего приятеля-гэбиста Юру Коновалова, и тогда он, Гемуев, увидит, кто на что годится. Я с ним был вообще на ножах: наверное,

поэтому протокол его допроса подсунили мне: не дам ли, в свою очередь, показаний на Измаила.

История любит позабавиться: разговаривал с ним в Новосибирске именно Коновалов.

Протокол составлен, как обстоятельная статья: с вводной частью о дифференциации диссидентства, затем шли психологические характеристики подследственных с рекомендациями удобного на них воздействия, а в конце — где и какую литературу Гемуев встречал. На другой день у Володи Климова он спьяну покаялся.

Климов, новосибирский кинооператор, отделался одним допросом. На его счастье Гемуев, стараясь не попасть под криминал, назвал лишь кое-что как якобы виденное случайно и не упомянул о большом потоке самиздата, шедшего через Володю в Томск. Климовский канал был верным и не иссякал никогда. Догадайся ГБ сделать обыск у Климова, ему неминуемо уготовили бы политическую статью.

Ответственность за самиздат взял на себя Божко.

Мытарства продолжались два месяца, перекинулись в Ленинград и Южно-Сахалинск, но никого не посадили. Божко и Погодского оставили в покое, сообразив, что с ними где сядешь — там и слезешь. Вцепились в тех, кто вступал в споры и диалоги, как Кендель или Крюков. Крюкова отпускали домой и снова за ним приезжали. Он решил замкнуться и замкнулся настолько, что не задумываясь отрицал знакомство с Казаркиным, бывшим своим преподавателем.

Я чувствовал себя свободным: теперь не надо таиться, и пошли вы все!

— А что вы скажете по поводу материалов Заиграева? — спросил старший лейтенант Сергеев.

— Ничего. Мало ли что он мелет. Пал человек, — и я вписал эту фразу в протокол.

Она гэбиста крайне поразила, и это «пал человек» он время от времени с удивлением вспоминал. Бедный Сергеев, читавший мои конспекты!

— Да, — посмеивался Божко, — читал он, читал, и уж, кажется, всё понял, а как дошёл до хилиастической эсхатологии — тут ему и крышка!

Не в коня корм: спустя два года, уже в капитанском звании, он курировал дело Чернышёва, навесил на Анатолия Алексеевича, кроме антисоветчины, ещё два надуманных криминала и довёл до суда.

Преподаватель истфака Гурьев в полном соответствии со статьёй «Как вести себя на допросах в КГБ» брал с собой курсовые работы и проверял их в искусственно создаваемых «психологических» паузах. Эта статья, доселе упорно называемая энтэ-эсовской инструкцией, публиковалась в «Континенте», и вообще-то называлась «Письмом из России в Россию».

Являясь лучшей иллюстрацией к письму, Вадим Сергеевич услышал:

— Вы читали инструкцию «Как вести себя на допросах в КГБ»?»

— Нет, — хладнокровно ответил Гурьев, — ничего мне здесь не давали.

Гениальней ответа быть не может! Гурьев уличался в чтении «Доктора Живаго» и «Архипелага ГУЛАГ», выглядел солиднее ночных сторожей, и в мае основное внимание стали уделять ему.

— Из меня, — сказал нам Гурьев, — делают главного паука. Хотел после каждого раза брать по бутылке, но тут никаких денег не хватит.

Наши знакомые были хорошими людьми, и «по морально-этическим соображениям» отказывались

отвечать на наводящие вопросы, чем гэбистов сильно раздражали. Были и оступившиеся, но их вина не сравнима с виной Гемуева и Заиграева. С первого возгласа в университете:

— Теплицу трясут! — общественное мнение окружило «тепличников» зримым сочувствием.

Пытаясь в моём лице дискредитировать всех остальных, параллельно гэбешному делу МВД вело дело о порнографии — с ужасным скрипом, ибо установка установкой, а никакой эротики, даже репродукции с Венеры Милосской, у меня не было. Так оно и заглохло.

Ажиотаж КГБ иссяк. Хотя тогда же в центре сажали и за меньшие поступки, томское дело вдруг прекратили. Божко с Погоцким подписали постановление об их предупреждении на будущее, а со мной, как ранее сидевшим, обошлись и без этого. Вероятно, Лигачёв не желал поднимать шум в «его» области накануне Олимпиады и убедил своего покровителя Андропова в пустяшности затеянной работы.

По делу прошло свыше тридцати человек.

Наёмные запевалы ударились в обличения. Кого-то уволили, кто-то поспешил уволиться сам, кого-то отстояло начальство.

Поэта Евгения Зими́на исключили из КПСС лишь за то, что посещал теплицу. На первичном собрании бывший директор детского туберкулёзного санатория Пикаревский сказал:

— Очень жалею, Евгений Михайлович, что я с вами здоровался.

— А потом будете жалеть, что не здоровались, — ответил Зимин.

Видимо, ряд политических передраг вспомнил-ся Пикаревскому, и он забормотал:

— Может быть, может быть, — чем возмутил представителя КГБ.

Утверждавший исключение секретарь райкома Габрусенко (никак не потопляемый) объявил Зимину:

— На этом пути я вам лавров не обещаю, вы будете раздавлены мощной социалистической машиной.

Бред не кончался.

Стоило Божко с Александром Нечаевым поехать на Алтай, подполковник Сивец вызвал Крюкова для частного разговора и осведомился, может ли тот за Божко поручиться — вдруг-де Стас перейдёт монгольскую границу.

Здесь должно представить немую сцену. Амальрик в таких случаях говорил:

— Нам этого не понять, тут полицейская логика.

Приметы Божко и Нечаева ГБ сообщила милицейским и войсковым частям и даже по автобазам. Ныне, исключив часть любопытных обстоятельств, Крюков изобразил этот сюжет в рассказе «Агенты Цеденбала».

Самиздатская «Хроника текущих событий» поведала о «тепличном деле» не во всём правильно. Ошибки перебрались в книгу Л.М. Алексеевой «История инакомыслия в СССР. Новейший период». При повторном издании (1992) планировался комментарий, к четырём абзацам пришлось дать двенадцать примечаний, но, увы, редакция сочла, что проще выпустить книгу с прежними погрешностями.

Томское дело 1980 года попало не только в цикл ироничных рассказов Крюкова, но в извращённом виде в роман ангарского писателя А.И. Просекина «Выродок» («Согласие», 1992, № 3) — наверно,

не последний опыт в художественном осмыслении аспектов «тепличного дела» и в попытках расставить свои акценты.

Божко заикнулся в печати даже о киносценарии. Образ теплицы оказался слишком хорош как символ существования творческой интеллигенции, и не случайно так увидел «тепличное дело» чуткий к социальным метафорам Василий Аксёнов (очерк «В авангарде — без тылов»).

Извините за каламбур, томская теплица 1970-х привлекает своей кажущейся прозрачностью.

Тепличное бытие вспоминаю с благодарностью.

От участия в пошлой оперетте по первоапрельскому либретто КГБ остаётся неприятный осадок.

Две работницы да три сторожа съедали больше денег, чем давала теплица, — зачем её держали, можно только гадать.

Снесли её после брежневских похорон.

Я пришёл туда в декабре 1982 года: сквозь развороченную крышу на разбитый диван падал снег, и до лучших времён оставленный тайничок в перекрытии балок ещё не своротили. Накладная щепка разбухла от влаги, и вынуть запаянный целлофановый пакет стоило больших усилий, — впрочем, я в нём уже не нуждался, это был дар ностальгии.

Поздний стоик

Где-то далеко в глуши сибирской
Жил он одиноко, нелюдимо.
Ни фригийский раб, ни кесарь римский
Не делили с ним в Сибири зимы.

Не Сенека и не Марк Аврелий —
Скромный сторож энской новостройки,
Даже не «дежурный по апрелю»,
Просто жил такой солдатик стойкий.

Владимир Каганов
1970-е годы

Из стихов об известных солдатах

Стасу Божко

Аравийское месиво, крошево...
О.М

Нам с тобой не промерить событие.
Так давай продолжать за других.
Не в сетях золотого наития
воплощается гибельный стих.

Но спешит, неумению отданный,
всех сочувствий опасный предел.
Чтоб остаться навеки с природою,
где печальных ведут под обстрел.

Всё случайное стало законченным.
Всё невольное стало прямым.
Вера скована образом прочности,
и лишь души витают, как дым.

И в пространство, где изгнана музыка,
нагнетается время, как рать
тех солдат, пробуждённо-неузнанных,
что к поэту укрылись в тетрадь.

Что сегодня гадать: был уродом ли?
У истории точный прицел.
И оптический крест над погодю
превращает бегущего в цель.

Те, чьи мысли расставлены иначе,
от подошв и до самых небес
под пятою у Змея Горыныча
познают настоящий прогресс.

Здесь закончилась зрелость бесплодия.
Здесь, в снегу протоптавши разбег,
просыпается жажда мелодии,
а внутри тот смешной человек.

Время копится в видимость связную.
Но лишь сердца доверчивый труд
превращает огонь в душу праздника
с гнутой птицей на встречном ветру.

Владимир Климов
Томск, начало семидесятых,
с. Мульта, Горный Алтай, 2009

Содержание

Автобиографическая справка

4

Зеркала

6

Встречи

Переводчик. *Густав Шпет – ссылка и гибель*

132

В сторону Полины

139

Полина Жеребцова

Муравей в стеклянной банке

Чеченские дневники 1994–2004 гг.

143

Время года — война

153

Три встречи

Двойная экспозиция

Акутагава Рюноске

166

Март

Осип Мандельштам

167

Три встречи
Памяти Рэя Бредбери
169

Джером Дэвид Сэлинджер
171

Герман Гессе
250 кубических метров
173

Беловодье 2.0
Наброски к сценарию
175

Рецензии

Г.Д. Гачев.
Осень с Кантом
178

Александр Неклесса
Люди воздуха, или кто строит мир?
179

Пауль Целан
Материалы. Исследования. Воспоминания
181

Иштван Бибо
Еврейский вопрос в Венгрии после 1944 года
182

Ольга Седакова
Два путешествия
184

Арон Шнеер
Из НКВД в SS и обратно
(Записки штурмбанфюрера)
185

Владимир Крюков
Линия ветра. В области сердца
187

Избранные стихи

«Островные созвездья над морем холодным...»
190

«Nomina astrorum odioza sunt»
191

«След мышки — застёжка-молния на пуховике...»
192

«Родина — горький дым в самом конце пути...»
193

«И в усмешке вождя, и в неловкой ухмылке...»
194

Воспоминание о шестидесятих
195

«Ледяную слезу со щеки сотри...»

196

«Опустевший Дахау. Лето. 39-й год...»

196

«Ты так прозрачен и пуст...»

198

«Ты думаешь, нанизывая слово, а после...»

199

Урсула Ле Гуин

Фонтаны. Из «Сказаний Орсинии»

Перевод: Лика Божско, Станислав Божско

200

Николай Серебренников

Пресловутая теплица

205

Владимир Каганов

Поздний стоик

215

Владимир Климов

Из стихов об известных солдатах

215

Редактор В.П. Ерохин

Дизайнер Р.Б. Гершзон

Автор фотографии на титульном листе

Григорий Санников

На обложке

репродукция картины Маурица Эшера

«День и ночь»

УДК 882-92
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
Б76

Станислав Божко

Зеркала. —

М.: Волшебный фонарь, 2015. 222 с.

ISBN 978-5-903505-29-6

ISBN 9785903505296



9 785903 505296 >

© С.В. Божко, текст, 2015
© Г.С. Санников, фото, 2015
© «Волшебный фонарь», макет, 2015

Отпечатано в ППП «Типография „Наука“»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.
Формат 84x108/32
Объем 7 п.л. Заказ 1322

